476497 р
3591.
БИБЛІОТЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА Самар. Губ. Земства.

В. А. Розовъ.

ТРАДИЦІОННЫЕ ТИПЫ МАЛОРУССКАГО ТЕАТРА

XVII—XVIII вв.

и

ЮНОШЕСКІЯ ПОВѢСТИ

Н. В. ГОГОЛЯ.

КІЕВЪ
Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра
Акц. Общ. печатн. и издат. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская, 6.
1911

6707.
476497

476497

В. И. ЛЕНИН

БЫЛ САМЫМ АККУРАТНЫМ

ЧИТАТЕЛЕМ
БИБЛИОТЕКИ

Владимир Ильич, разумеется, не считал предосудительным или ниже своего достоинства быть одним из самых аккуратных абонентов библиотеки имени Г. А. Куклина. Он вполне одобрял и ценил заведенные нами „строгие" порядки, обеспечивающие правильный кругооборот книг и целость редкостных экземпляров и архивных материалов. Владимир Ильич НЕ „ЗАЧИТАЛ" НИ ОДНОЙ КНИГИ и всегда уплачивал за чтение по тарифу.

Из воспоминаний тов. Карпинского
„Записки Института ЛЕНИНА"
т. II, стр. 97.

Издание Куйбышевской областной библиотеки

ЕО 13578. Зак. 50 тир. 50000. Тип. КуАИ.

Инв 4964.
3591.

БИБЛІОТЕКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА
Многоуважаемому
Д. К. Симони
Книги из собранія
Д. К. Симони.
В. Розовъ.
891.71.09
Р65

В. А. Розовъ.

ТРАДИЦІОННЫЕ ТИПЫ МАЛОРУССКАГО ТЕАТРА

XVII—XVIII вв.

1948 г.

и

ЮНОШЕСКІЯ ПОВѢСТИ

Н. В. ГОГОЛЯ.

476497.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

КІЕВЪ
Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра
Акц. Общ. печатн. и издат. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговская, 6.
1911

Печатано по опредѣленію Совѣта Императорскаго Университета св. Владиміра.
Оттискъ изъ Университетскихъ Извѣстій за 1911 г.

Традиціонные типы малорусскаго театра XVII—XVIII вв. и юношескія повѣсти Н. В. Гоголя.

Задачей настоящей статьи является выясненіе любопытнаго сходства между многими дѣйствующими лицами произведеній Н. В. Гоголя, особенно юношеской поры, и традиціонными типами малорусской драмы XVII—XVIII вв.

Возникши въ началѣ XVII в., а можетъ быть и раньше, путемъ рабскаго подражанія западно-европейскимъ, ближе всего польскимъ школьнымъ драмамъ и мистеріямъ, малорусскій театръ съ теченіемъ времени пріобрѣлъ—по крайней мѣрѣ въ интерлюдіяхъ и вертепѣ—національный характеръ, воспринялъ въ себя волну народнаго малорусскаго юмора и наблюдательности, сталъ до извѣстной степени представителемъ воззрѣній малорусскаго народа и защитникомъ его религіозныхъ, общественныхъ и политическихъ интересовъ. Этимъ воздѣйствіемъ коллективнаго народнаго творчества естественнѣе всего объясняется, на нашъ взглядъ, какъ устойчивость, традиціонность главнѣйшихъ типовъ малорусской интерлюдіи XVIII в., такъ и близкое родство ихъ съ образами устной поэзіи украинскаго крестьянства и казачества.

Но воспринимая элементы изъ окружающей среды, западно-русскій театръ XVII—XVIII вв. въ свою очередь вліялъ на свою аудиторію. Онъ передавалъ современникамъ извѣстные поэтическіе образы, общественные и политическіе идеалы и воззрѣнія, а тѣ воспитывали въ нихъ новыя поколѣнія. Его вліяніе сказалось и на произведеніяхъ Котляревскаго и на пьесахъ Гоголя-отца. Не ушелъ отъ него и Н. В. Гоголь.

Намъ не приходится изумляться этому. Вліяніе эпохи и среды даже на самую геніальную личность стало уже азбучной истиной. А состояніе общества въ каждый данный моментъ является результатомъ его историческаго прошлаго, суммы опытовъ и комплекса идей, накопленныхъ предками и выработанныхъ современнымъ поколѣніемъ, при чемъ процентъ послѣднихъ обыкновенно не слишкомъ внушителенъ. Поэтому нерѣдко въ, казалось бы, самобытной идеѣ мыслителя, въ оригинальномъ, повидимому, образѣ поэта внимательный анализъ вскрываетъ идею, давно живущую въ средѣ, создавшей этого мыслителя, образъ, вѣками существующій въ родной автору поэзіи. Не составляетъ исключенія въ этомъ отношеніи и Н. В. Гоголь.

Въ настоящей статьѣ я ограничусь опредѣленіемъ главнѣйшихъ традиціонныхъ типовъ малорусской драмы XVII—XVIII вв. и указаніемъ, гдѣ и какъ они отразились въ юношескихъ повѣстяхъ Гоголя. Конечно, было бы гораздо интереснѣе и важнѣе для науки прослѣдить и указать тѣ пути, которыми они проникли въ сознаніе нашего поэта, но въ настоящее время я долженъ отказаться отъ этой задачи.

Перехожу къ обзору литературы предмета. Она очень невелика. Непосредственно на данную тему написана только юбилейная рѣчь проф. В. Н. Перетца: „Гоголь и малорусская литературная традиція“, Спб. 1902 г. Рѣчь очень интересна и по сюжету и по идеямъ, но, какъ и всѣ торжественныя рѣчи, она остается главнымъ образомъ на почвѣ общихъ положеній, понятныхъ широкой публикѣ, не погружаясь въ детальную разработку сырого матеріала. Родственную задачу, опредѣленіе національно-традиціоннаго въ произведеніяхъ Гоголя, преслѣдуетъ Кулишъ въ своей статьѣ: „Обзоръ украинской словесности. Гоголь, какъ авторъ повѣстей изъ украинской жизни“ [1]). Національный шовинизмъ помѣшалъ ему однако правильно оцѣнить повѣсти Гоголя. Онъ не понялъ, какъ много горячей любви къ Малороссіи и родному племени скрывается подъ этимъ жизнерадостнымъ юношескимъ смѣхомъ, подъ этимъ блестящимъ юморомъ,—и обидѣлся за свою родину и свой народъ. Цѣль Кулиша доказать, что Гоголь чуждъ національной малорусской традиціи, что онъ не зналъ народа, не понималъ его и не умѣлъ его изображать. Онъ доходитъ до крайне несправедливаго и рѣзкаго приговора о юморѣ раннихъ повѣстей Гоголя: „Ко-

[1]) Основа, 1861 г., апрѣль, стр. 67—90, май, стр. 1—33, сентябрь, стр. 56 - 68, ноябрь—декабрь, стр. 1—11.

мическое паясничанье теперь уже ничего не значитъ въ литературѣ“ [1]). Понятно, считаться съ такой работой необходимо, но воспользоваться многимъ для нашей цѣли изъ нея невозможно.

Далѣе идутъ общіе обзоры малорусской драмы указанной эпохи. Сюда относятся труды Петрова: „Очерки изъ исторіи украинской литературы XIX столѣтія“. Кіевъ. 1884 г. и „Кіевская искусственная литература XVII и XVIII в.в., преимущественно драматическая“ [2]). Далѣе слѣдуетъ отмѣтить рецензію Дашкевича: „Отзывъ о соч. г. Петрова: „Очерки исторіи и т. д.“ [3]), труды Морозова: „Очерки изъ исторіи русской драмы XVII—XVIII столѣтій“. Спб. 1888 г. и „Исторія русскаго театра до половины XVIII столѣтія“. Т. I. Спб. 1889 г., Житецкаго: „Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ“. Кіевъ, 1893 г., стр. 99—117, Огоновскаго: „Исторія литературы русской“. III. I—IV., Стешенко: „Исторія украінскоі драми“ [4]), Рѣзанова: „Къ исторіи русской драмы. Экскурсъ въ область театра іезуитовъ“. Нѣжинъ. 1910 г. Ни одинъ изъ этихъ трудовъ не касается прямо интересующаго насъ вопроса. Оттуда можно извлекать лишь важнѣйшія свѣдѣнія о развитіи малорусскаго театра и анализъ отдѣльныхъ его пьесъ. Въ этомъ отношеніи наиболѣе важное мѣсто занимаетъ новѣйшій трудъ Петрова.

Гораздо полезнѣе для нашихъ цѣлей оказались нѣкоторыя спеціальныя изслѣдованія. Прекрасная работа проф. Перетца: „Кукольный театръ на Руси“. Спб. 1895 г. знакомитъ насъ съ цѣлымъ рядомъ традиціонныхъ типовъ вертепа польскаго, бѣлорусскаго, малорусскаго и великорусскаго. Важнымъ дополненіемъ къ ней служитъ статья Івана Франка: „До історії українського вертепа XVIII в.“ [5]). Статья проф. Дашкевича: „Вопросъ о литературномъ источникѣ украинской оперы „Москаль-Чаривникъ“ даетъ прекрасный научный анализъ одного изъ традиціонныхъ типовъ малорусской литературы—дьяка [6]).

---

[1]) Основа, 1861 г., апрѣль, стр. 87.

[2]) Труды Кіевской Духовной Академіи, 1909 г., кн. V—X, XI; 1910 г., I—V, IX—XII.

[3]) „Отчетъ о двадцать девятомъ присужденіи наградъ графа Уварова“. Спб. 1888, стр. 37—301.

[4]) „Україна“, 1907 г., ноябрь—декабрь.

[5]) Записки наукового товариства імени Шевченка. 1906 г., т. III, стр. 22—44, т. IV, стр. 9—79, т. V, стр. 5—64.

[6]) Кіевская Старина, 1893 г., т. XII.

Наконецъ, полезныя наблюденія относительно нѣкоторыхъ традиціонныхъ типовъ малорусскаго театра и легенды встрѣчаемъ въ статьѣ Мирона (псевдонимъ Франка): „Южно-русская пасхальная драма“ [1]).

Но большая часть относящагося сюда матеріала находится еще въ почти необработанномъ видѣ. Много піесъ доступно пока только въ рукописяхъ, но много ихъ и издано за послѣднее пятидесятилѣтіе.

Первымъ приступилъ къ изданію памятниковъ стариннаго малорусскаго театра извѣстный этнографъ и историкъ Украйны Максимовичъ. Въ 1858 г. имъ была напечатана „Милость Божія, Украину отъ неудобь носимыхъ обидъ лядскихъ чрезъ Богдана Хмѣльницкаго свободившая“, написанная Ѳеофаномъ Трофимовичемъ въ 1728 г. [2]). Но наиболѣе потрудился на этомъ поприщѣ знаменитый Тихонравовъ. Его „Лѣтописи русской литературы и древностей“, первая книжка которыхъ вышла въ 1859 г., и „Русскія драматическія произведенія 1662—1725 гг.“, т. I—II. Спб. 1874 г. до сихъ поръ являются для занимающагося изученіемъ малорусскаго таатра источниками первостепенной важности. Позднѣе главная роль въ дѣлѣ изданія малорусскаго репертуара XVII — XVIII вв. принадлежитъ Трудамъ Кіевской Духовной Академіи и Кіевской Старинѣ. Наибольшія заслуги при этомъ выпадаютъ на долю проф. Петрова. Не малое значеніе имѣетъ и издательская дѣятельность галицкаго ученаго Франка, распредѣленная между Кіевской Стариной и Записками наукового товарищества імени Шевченка во Львові. Наконецъ, въ самое послѣднее время научная литература многимъ обязана Рѣзанову и его сборнику: Памятники русской драматической литературы. Школьныя дѣйства XVII—XVIII вв. Приложеніе къ изслѣдованію „Изъ исторіи русской драмы“. Нѣжинъ. 1907 г.

За болѣе подробными свѣдѣніями о пьесахъ малорусскаго происхожденія, ихъ изданіяхъ и относящейся къ нимъ литературѣ отсылаемъ читателя къ упомянутому труду проф. Петрова: „Кіевская искусственная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая“ [3]).

---

[1]) Кіевская Старина, 1896 г., т. VI, стр. 389—412, т. VII, стр. 1—29.

[2]) Чтенія въ Импер. Общ. Исторіи и древн. россійскихъ. Піеса перепечатана въ „Собраніи сочиненій М. А. Максимовича“, т. I, и въ „Историческихъ пѣсняхъ малорусскаго народа“ Антоновича и Драгоманова, т. II.

[3]) Труды Кіевской Дух. Ак., 1909 г., кн. V—XI, 1910 г., I—XII.

Прежде всего въ юношескихъ повѣстяхъ Гоголя наше вниманіе останавливаетъ фигура казака, обрисованная вполнѣ традиціонными для малороссовъ чертами. Разсмотримъ происхожденіе этого типа. Начало свое онъ ведетъ отъ польскаго театра. Здѣсь казакъ появляется въ видѣ глуповатаго, но хвастливаго и плутоватаго хлопа. Съ такими именно чертами выступаетъ казакъ въ іезуитской пьесѣ XVII в.: „Communia duchowna ss. Borysa y Hleba“ [1]). Врагъ Святополка Ерыманъ посылаетъ казака съ секретными письмами, которыя не должны попасться въ руки Святополку. На пути казакъ, послѣ комическихъ жалобъ на свою службу, ложится спать, „кобылу до рук прывязавшы“, чтобъ она не ушла. Двое драгунъ изъ отряда Святополка крадутъ у него во время сна кобылу, подмѣнивъ ее краденой же лошадиной шкурой. Проснувшись, казакъ соображаетъ, въ чемъ дѣло, и отправляется искать управу на воровъ прямо къ Святополку [2]). Тотъ, конечно, догадывается, зачѣмъ Ерыманъ посылалъ казака, хитростью выманиваетъ у него письма и подмѣняетъ ихъ другими [3]). Простаку не удается получить и пропавшей кобылы, такъ какъ примѣты, которыми онъ ее характеризуетъ, крайне общи и наивны. „Siwą jabkowitą była“, сообщаетъ онъ: „Miała w chrapach dwie dziurki, a zas ogon w tyle, uszy, dwie oczy, jesli się nie mylę, a nad to miała cztery z kopitami nogi, rącza była y trwała, sbosobna do drogi. A nade wszystko ieszcze taki zwyczay miała: inne stada zadartym ogonem żegnała. Wzrostu była miernego, Turka nie dorosła. Więcey się nad żmudzina miernego podniosła. Ale rącą biegała, twardousta była, kiedy w błoto leciała, żadna nie zatrzimała siła“ [4]). Увидѣвъ съ кѣмъ имѣютъ дѣло, драгуны, укравшіе кобылу, сообщаютъ ему, что видѣли, какъ она, „мелючи хвостомъ“, бѣжала около Шершенева. А на вопросъ простака: „Гдѣ же Шершеново?“ они разъясняютъ, что это около грышка, что влѣво отъ Курыловой груши [5]). Казакъ остается въ полномъ недоумѣніи, какъ ему разыскать эту фантастическую

[1]) Кіевская Старина, 1894, VII, 32—45.

[2]) Ib., стр. 36—38.

[3]) Ib., стр. 42, 43.

[4]) Совершенно подобными доказательствами пользуется въ вертепѣ Франка цыганъ, чтобы отобрать у москаля лошадь: „Ot dywił sia, sywaia była, y pid chwostom jaka dyra!. Записки науков. товариства імени Шевченка во Львові, 1906, IV, стр. 44.

[5]) Кіев. Стар., 1884, VII, стр. 42—43.

грушу. Несмотря на такую свою простоту, нашъ герой все таки успѣваетъ надуть еврея. Онъ продаетъ еврею за два талера оставленную драгунами шкуру, убѣдивъ того, что она турецкая. При этомъ, хвастаясь своей храбростью, онъ увѣряетъ, будто самъ снялъ ее съ коня убитаго имъ турка [1]).

Подобный же типъ представляетъ изъ себя и казакъ изъ польскаго текста вертепа 1790 г. [2]). Франко считаетъ этотъ вертепъ украинскимъ, однако польскій языкъ текста и политическія тенденціи его, именно враждебное отношеніе не только къ москалю, но и къ казачеству, свидѣтельствуютъ о томъ, что мы имѣемъ предъ собою польскую пьесу. Казакъ въ ней изображается какъ хвастунъ, пьяница, обжора, буянъ и грабитель. Вотъ какъ самъ онъ рекомендуетъ себя: „Otoż y ia yz dałekoho kraiu kozak... Ne nowina mni, panowe, szurmowaty do zydowskich piwnic y komor. Ne zaderżyt mni kurnik ani żadnyi dwor. Czuda-m bardzo welikyie tworyw, stawy, oczereta ohnem paływ, hory syranyie, ozera medowyie, kobasy, mandryky w michu zabiraiu. Ieszczeż chto choczet doznaty licyrstwa mojeho, nechay wysiłaie kilka tysiacz woyska knyszowogo, a ia z nymi budu hercy wypławlaty, a do carbana ich budu zahaniaty. Czy nema tut, panowe, takoho do mene prystati? A piszli bysmo na Turca woiowati, a szczo bysmo zdobuli, tob sia diłyli. Czy nemasz tut takoho?“ [3]).

Однако храбреца, собирающагося итти воевать противъ турокъ, побѣждаетъ одинъ еврей. Онъ отбираетъ у казака лукъ и карабинъ и выгоняетъ его изъ корчмы [4]). Правда, вскорѣ казакъ беретъ реваншъ, въ свою очередь выгоняя изъ той же корчмы цѣлое еврейское войско [5]), но врядъ-ли эта побѣда могла внушить зрителямъ уваженіе къ храбрости и доблестямъ нашего героя.

Есть въ польскомъ вертепѣ и другая фигура, роль которой принялъ на себя казакъ въ малорусскомъ народномъ театрѣ. Это kopeniak—забіяка, который время отъ времени врывается съ дубинкой въ рукахъ на сцену и производитъ избіенія несимпатичныхъ зрителямъ лицъ [6]).

---

[1]) Ib., стр. 38.

[2]) Изъ Львовскаго Музея имени Петрушевича. См. записки Наукового товариства імени Шевченка, 1906 г., т. IV.

[3]) Ib., стр. 31.

[4]) Ib., стр. 32—33.

[5]) Ib., стр. 35—36.

[6]) Перетцъ. „Кукольный театръ на Руси“, стр. 51.

Совсѣмъ съ иными чертами является казакъ въ серьезной малорусской драмѣ. Глубоко патріотическая пьеса Ѳеофана Трофимовича: „Милость Божія“ (1729 г.) изображаетъ казачество свѣтлыми и величественными чертами. Вотъ какъ рисуетъ Хмельницкій доблесть и могущество казачества въ первомъ дѣйствіи по поводу притѣсненій, которымъ поляки подвергли русскихъ: „О, нечувствія нашего! Страдати кая нужда есть, аще честь за честь воздати можемъ! Татаре, Турки и Нѣмцы бували не страшни: и Ляхи ли ужасни намъ стали? Сверѣные львы, тикгры, вепри побѣждати удобъ было: отъ зайцовъ ли станемъ втѣкати? Когда шабля при насъ есть,— не совсѣмъ пропала многоименитая оная похвала наша; доказовала чуждой славы много она: студа жъ своего не отмстить такого! Не отобрали еще Ляхи намъ остатка: живъ Богъ, и не умерла козацкая матка!“ [1]) Онъ вспоминаетъ о разоренiи казаками Синопа, Трапезонта, окрестностей Константинополя, о подвигахъ ихъ подъ Хотиномъ въ 1621 г., о временахъ, когда козакамъ „поклонъ отдавали Турки и Татаре, а многи не востали никогда же, егда разъ наклонили вып“ [2]). Такимъ образомъ, Запорожская Сѣчь грозная и непобѣдимая сила, которой трепещутъ турки и татаре и которой не трудно справиться и съ раздражающими ее поляками. Казакъ окруженъ ореоломъ славы, онъ образецъ мужества, доблести и воинственности. Лишь бы была при немъ его „шабля“, никакой врагъ ему не страшенъ.

Въ своихъ наставленіяхъ казакамъ Хмельницкій рисуетъ идеалъ казака, очень близкій къ тому, который осуществлялся въ Сѣчи, пропиталъ собою народныя думы и легенды и прочно укоренился въ душѣ малорусскаго народа:

А желѣзо доброе важте и надъ злато,
Злато бо потемнѣетъ безъ него, якъ блато.
Что злато и что сребро Ляхамъ пользовало?
Коликіе жъ богатства желѣзо побрало?
Зъ сребныхъ полумисъ отцы наши не ѣдали,
И зъ золотыхъ пугаровъ они не пивали:
О желѣзѣ старались, желѣзо любили,
И велику тѣмъ себѣ славу породили.

[1]) Собраніе сочиненій М. А. Максимовича. Кіевъ. 1876 г., т. I, стр. 486—487.
[2]) Ibidem, стр. 489—490.

Онихъ путемъ идите, онихъ подражайте,
Славы ища, богатство вы за ничто майте.
Не той славенъ, который многа лѣчитъ [1]) стада,
Но иже многихъ враговъ своихъ шлетъ до ада;
Сему едино токмо желѣзо довлѣетъ,
А злато и сребро ничтоже успѣетъ...
Напослѣдокъ глаголю: сами не купчуйте,
Лука, стрѣлки, мушкета и шабли пильнуйте!
Куплями бо обвязанъ житейскими воинъ,
Имени сего весьма таковъ недостоинъ.
И дѣтей своихъ, скоро отправлятъ науки,
До сей же обучайте козацкои штуки [2]).

Такимъ образомъ казачество должно образовывать собою военное сословіе, исключительно преданное военному дѣлу и съ любовью ему отдающееся. Ему предписывается презрѣніе къ мирной жизни, ея занятіямъ и ремесламъ, пренебреженіе къ имуществу, богатству, особенно къ золоту и серебру, отвращеніе къ роскоши. Слава единственная цѣль его жизни, оружіе—одна его радость, война—единственное занятіе и искусство.

Нѣсколько иначе выступаетъ казакъ въ интерлюдіяхъ къ Рождественской и Пасхальной пьесамъ Довгалевскаго [3]). Судя по характеру этого рода произведеній, мы ждали бы, что онъ пріобрѣтетъ комическія черты. Однако въ третьей рождественской интерлюдіи Довгалевскаго появленіе казака производитъ не комическое, а, какъ и въ малорусскомъ вертепѣ, элегическое впечатлѣніе. Онъ только что вернулся на родину. Много онъ испыталъ горя на чужбинѣ: „Бувъ у турка под рукамы, а в татаровъ з кайданами у самои жалости“. Воспоминанія о пережитомъ вызываютъ его на пессимистическое замѣчаніе: „Да вже правда тепера нема добра всюди, дармо пряцуемъ, виставляемъ груды“. Но невеселы его впечатлѣнія отъ родного пепелища: „Богъ виручивъ мя оттуду, а тепер мѣсця не найду. Въ дому не сидѣти: лѣса, поля спустошенни, лугы сѣна покошенни, пороспускавъ дѣты“. Нѣтъ у него болѣе ни имущества, ни семьи. Онъ теперь

[1]) Т. е. насчитываетъ.
[2]) Собр. соч. Максимовича, т. I, стр. 501—502.
[3]) Первая относится къ 1736, а вторая къ 1737 году.

БИБЛІОТЕКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА
С.-П. Губ. Земства.
Книги из собранія
Д. Н. СИМОНИ.

обездоленный и одинокій бобыль. Одна только „мати старенкая" рада его возвращенію. Ему не остается ничего, какъ вновь вернуться въ Запорожье:

Пойду знову на Сѣчъ маты, пойду долѣ внизъ шукаты...
Спитаю, чи не буде хочъ на низу добра,
Чи не трапится де поимати лиса або бобра.
Буду турковъ воеваты, мечемъ слави добувати,
Буду воевати 2.
Кармазини з луданамы, шати драты зъ султанамы,
Совсѣмъ буду браты: з очей не спускаты 2.
Егей, колиб впят як була козацкая слава,
Щобъ роспустилась всюди якъ пѣрамы пава,
І щоб зацвѣла знову якъ рожа у лѣтѣ,
Якъ Богъ поволитъ побрать турецкіи дѣты,
Або ляховъ на той часъ трапится пойматы
І сѣмъ кіемъ козацкимъ по ребесах дати.

Такимъ образомъ и у Довгалевскаго казакъ—горячій патріотъ, мечтающій о расцвѣтѣ козацкой славы, воинъ по призванію, для котораго нѣтъ интересовъ въ жизни помимо борьбы съ врагами родины: турками и поляками. Но интерлюдія, какъ и малорусскій вертепъ, подчеркиваетъ подвижничество этого борца за народъ и элегическую сторону его безпріютнаго и одинокаго существованія. Въ концѣ явленія мы видимъ казака въ его благородной дѣятельности. Вмѣстѣ съ москалемъ они избиваютъ и прогоняютъ со сцены ляха, подвергшаго жестокому и незаслуженному наказанію подвластныхъ ему крестьянъ-бѣлоруссовъ. Подобную же роль играетъ казакъ и въ пятой пасхальной интерлюдіи того же автора. Ляхъ вывезъ мужиковъ въ клѣткѣ на продажу, еврей беретъ ихъ въ аренду за 100 золотыхъ и для своей безопасности собирается, съ разрѣшенія пана, сковывать ихъ на ночь по рукамъ и ногамъ попарно [1]). Но тутъ является казакъ:

Що б то се за причина, и якъ розважати,
Що ляхи шилихвости людій продавати
Почали? Да не знаю, що то съ того війде,

---

[1]) Кіевская Старина, 1897 г., ноябрь, стр. 115—116.

Якъ на ляха година несчастлива прійде
За те, що хрестянску кровь жидамъ орендуютъ....
Да ще будетъ имъ лихо, нехай пождутъ трохы!
Бо мы вже взналы добре ляховецкы здохы:
Тулки ихъ помаленьку будемо пуздати,
То воны заречутся хрестянъ продаваты“ [1]).

Затѣмъ онъ грозно спрашиваетъ поляка: „Развѣ ты не чувъ гуку, якъ отъ тебе хрестяне отсіи кричалы“? Не получивъ удовлетворительнаго отвѣта ни отъ пана, ни отъ еврея, казакъ, чтобы они не отваживались болѣе торговать людьми, запрягаетъ обоихъ въ телѣгу и уѣзжаетъ со сцены [2]).

Не менѣе любовно, но нѣсколько иначе разработанъ типъ казака въ малорусскомъ вертепѣ. Запорожецъ неизмѣнный герой второй его части, представляющей рядъ сценокъ, взятыхъ преимущественно изъ народной жизни [3]). При первомъ же своемъ появленіи передъ зрителями онъ выступаетъ носителемъ религіознаго и политическаго идеала народа, какъ онъ вылился въ эпоху войнъ Хмельницкаго:

„Та не буде лучше,
Та не буде краще,
Якъ у насъ та на Украіні!
Що не мае жида,
Що не мае ляха:
Не буде унін (вар. изміни) [4]).

Самая наружность его характерна и имѣетъ для насъ значеніе. „Онъ гораздо выше всѣхъ остальныхъ фигуръ вертепа, одѣтъ въ широкіе красные шаровары и синюю куртку, обшитую галуномъ, въ правой рукѣ у него булава, съ выбритой головы виситъ чуприна“ [5]). Вступительный монологъ его своимъ содержаніемъ, а особенно настроеніемъ напоминаетъ приведенную выше интерлюдію Довгалевскаго. За-

[1]) Ib., 116.
[2]) Ib., 117.
[3]) Перетцъ, op cit., 60.
[4]) Маркевичъ. „Обычай, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ“. Кіевъ. 1870, стр. 51. Галаганъ. „Малорусскій вертепъ“. См. Кіевск. Старина, 1882, X, 21—22.
[5]) Галаганъ, 22. И у Маркевича запорожецъ въ красныхъ шароварахъ, стр. 51.

порожецъ—храбрый и бездомный рыцарь. Билъ онъ въ свое время и ляховъ и татаръ, но состарился теперь и покинула его прежняя богатырская сила. Нѣтъ у него на старости лѣтъ ни пріюта, ни друзей, ни родныхъ. Ни одна живая душа не заплачетъ по немъ въ случаѣ его смерти. Только и надежды у него, что на свою саблю и мушкетъ [1]). Тѣмъ не менѣе онъ не унываетъ: играетъ на гитарѣ, волочится за шинкаркой Феськой, бьетъ ее, цыганку, разбиваетъ шинокъ Феськи, силой отбираетъ отъ еврея водку, напивается до пьяна, издѣвается надъ евреемъ и въ концѣ концовъ убиваетъ его, а тѣло отдаетъ чорту [2]). Тутъ онъ выступаетъ съ чертами своего польскаго прообраза: пьяницей, гулякой, буяномъ, грозой беззащитныхъ евреевъ и женщинъ, разносителемъ шинковъ. Но въ противоположность польскому вертепу роль казака не ограничивается этими отрицательными подвигами. Онъ выступаетъ передъ нами на самой сценѣ защитникомъ народа отъ поляковъ и православія отъ уніатовъ. Когда польскій панъ, танцуя, натыкается на своего слугу-мальчика, онъ грозится за свою неловкость забить его батогами. Но достаточно однихъ раскатовъ пѣсни приближающагося запорожца, чтобы полякъ бросилъ свою жертву и трусливо убѣжалъ [3]). Передъ своимъ уходомъ со сцены казакъ проучиваетъ уніатскаго попа за его усердіе въ навязываніи своей религіи. На притворной исповѣди онъ признается уніату, что много убивалъ жидовъ, ляховъ, купцовъ и поповъ, но поповъ уніатскихъ никогда не убивалъ, а сдиралъ съ нихъ живыхъ кожу. Перепуганный уніатъ едва въ состояніи продолжать свои наставленія и наконецъ быстро исчезаетъ [4]). Кромѣ этихъ земныхъ враговъ своего народа, запорожецъ побѣждаетъ и врага изъ нездѣшняго міра. Во время его сна два чорта садятся ему на спину и хотятъ его задушить. Казакъ ловитъ одного за хвостъ, поворачиваетъ его, осматриваетъ чорта съ заду и заставляетъ плясать [5]).

Такимъ образомъ запорожецъ вертепа представляетъ въ высшей степени гармоничное и жизненное сочетаніе большинства отрицательныхъ чертъ своего польскаго прототипа, за исключеніемъ хвастливости

[1]) Галаганъ, 22—25.
[2]) Маркевичъ, явл. 11, 12, 13, 14, 16, 17, стр. 52—57. Галаганъ, стр. 27—31.
[3]) Маркевичъ, явл. 8—9, стр. 51. Галаганъ, стр. 21—22.
[4]) Маркевичъ, 19 и 20, стр. 58—59. Галаганъ, 43—44.
[5]) Маркевичъ, явл. 21, стр. 59—60. Галаганъ, стр. 32.

и трусости, съ яснымъ сознаніемъ великихъ религіозныхъ и политическихъ задачъ, лежащихъ на немъ въ силу историческихъ условій жизни его родного народа. Въ этомъ сочетаніи секретъ его яркой красочности и необыкновенно выпуклой жизненности, которыя ставятъ его выше не только польскаго образца, но и казаковъ искусственной драмы[1]).

Этотъ же типъ казака растворился въ повѣстяхъ Гоголя и пропиталъ ихъ собою. Самый костюмъ запорожца живо вызываетъ предъ нашими глазами фигуру изъ вертепа. „На встрѣчу запорожецъ. Гуляка, и по лицу видно! *красные*, какъ жаръ, *шаровары*, *синій жупанъ*, яркій цвѣтной поясъ, *при боку сабля* и люлька съ мѣдною цѣпочкою по самыя пяты—запорожецъ да и только! Эхъ народецъ! Станетъ, вытянется, поведетъ рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами—и пустится! Да вѣдь какъ пустится: ноги отплясываютъ словно веретено въ бабьихъ рукахъ; что вихорь, дернетъ рукою по всѣмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подпершися ею въ боки, несется въ присядку:

[1]) *Примѣчаніе.* Изъ остальныхъ явленій вертепа, въ которыхъ выступаетъ запорожецъ, для насъ наиболѣе значенія имѣетъ сцена его издѣвательства надъ попрошайничающей цыганкой. „Не жалуй, батеньку, копіечки, та дай дві“, проситъ она. „Що ты, цыганко, кажешъ? Бо якъ просять, то не дочуваю“, притворяется козакъ. На повтореніе просьбы онъ возражаетъ: „Да на що тобі?“ „Ябъ собі рыбки купила“. „А може бъ ты и товченики іла?“ вновь спрашиваетъ ее запоожецъ. „Та іла бъ“, отвѣчаетъ цыганка: „та де то ихъ узять!“ Казакъ съ большою готовностью даетъ ей „товченіковъ“, т. е. попросту бьетъ ее. (Маркевичъ, явл. 13, стр. 53. Галаганъ, стр. 28). Кто, читая эту сценку, не вспомнитъ незабвеннаго Ивана Ивановича и его своеобразной благотворительности. „Когда же окончится служба, Иванъ Ивановичъ никакъ не утерпитъ, чтобъ не обойти всѣхъ нищихъ... „Здорово, небого!“ обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, ешитомъ изъ заплатъ платьѣ. „Откуда ты, бѣдная?“ „Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не пила, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти“. „Бѣдная головушка! чего-же ты пришла сюда?“ „А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли кто-нибудь хоть на хлѣбъ“. „Гм! что-жъ тебѣ развѣ хочется хлѣба?“ обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ. „Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака“. „Гм!“ отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ: „Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?“ „Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна“... При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку. „Ну, ступай же съ Богомъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ. „Чего жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью?“. Замѣчаніе насчетъ побоевъ звучитъ нѣсколько неожиданно, но, какъ мы знаемъ, въ вертепѣ сцена издѣвательскихъ разспросовъ просительницы заканчивалось избіеніемъ ея (Сочиненія Н. В. Гоголя, изд. X. Т. I, Москва. 1889 г., стр. 407).

зальется пѣсней—душа гуляетъ!... Нѣтъ, прошло времячко: не увидать больше запорожцевъ“ [1]). Тутъ мы видимъ традиціоннаго запорожца изъ вертепной пьесы: онъ гуляка, пѣвецъ, плясунъ и даже костюмомъ своимъ представляетъ точную копію своего вертепнаго образца.

Та же пьеса оказала вліяніе и на нѣкоторыя приключенія Вакулы. Когда онъ хватаетъ за хвостъ чорта, „сѣвшаго верхомъ ему на шею“ и заранѣе ликующаго отъ предвкушенія побѣды, стаскиваетъ его на землю и подчиняетъ своей волѣ, онъ повторяетъ извѣстную сцену между запорожцемъ и чортомъ изъ вертепа. Когда бѣсъ несетъ на себѣ кузнеца въ Петербургъ, онъ выполняетъ свою обычную въ вертепѣ и малорусскихъ интерлюдіяхъ функцію—приносить и уносить на себѣ различныхъ персонажей пьесы. Когда Вакула вторично ловитъ за хвостъ поспѣшно улепетывающаго чорта и угощаетъ его хворостиной такъ, что тотъ „припускаетъ бѣжать, какъ мужикъ, котораго только что выпоролъ засѣдатель“, предъ нашимъ воображеніемъ также мелькаютъ знакомыя вертепныя картинки [2]).

Когда казакъ Данило отвѣчаетъ женѣ: „Казакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится [3]), припоминаются столкновенія вертепнаго казака съ чертями и уніатскимъ ксендзомъ.

Оттуда же, вѣроятно, взята и „пышная фигура“ пьянаго запорожца также въ „*шароварахъ алаго дорогаго сукна*“, „спавшая по самой серединѣ дороги“ при самомъ въѣздѣ въ Сѣчь [4]).

Сообщеніе Гоголя объ участи евреевъ, торговавшихъ въ Сѣчи, что „какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали лавочки и брали всегда даромъ“ [5]), напоминаютъ намъ штурмы казаками шинковъ въ вертепахъ Франка, Маркевича и Галагана и сценки между ними и евреями.

Запорожецъ въ представленіи Гоголя непремѣнно развеселый гуляка, пьяница и замѣчательный танцоръ. Вспомнимъ приведенное выше описаніе запорожца изъ „Пропавшей грамоты“. Далѣе изобра-

---

[1]) Пропавшая грамота. Соч. Гоголя, изд. X, т. I, стр. 83. Далѣе мы всегда цитируемъ это изданіе. Тотъ же синій жупанъ мы видимъ и на Данилѣ изъ Страшной мести, гл. IX, стр. 168.

[2]) Ночь подъ Рождество. Соч. Гоголя, т. I, стр. 122—125, 131—132, 141.

[3]) Страшная месть, гл. II. Соч. Гоголя, т. I, стр. 148.

[4]) Тарасъ Бульба, гл. II. Соч. Гоголя, т. I, стр. 266.

[5]) Іb., гл. III, стр. 270. См. и картину разгрома шинковъ и пьянства въ концѣ этой главы, стр. 275.

жается сцена пьянства казаковъ въ шинкѣ, гдѣ участники попойки втроемъ выпиваютъ треть ведра. Дворъ этого шинка описывается съ точки зрѣнія неудобства „пріударить горлицы или гопака... когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъ-по“ [1]). Деревья въ лѣсу „разгульно покачиваются“, „что охмелѣвшія казацкія головы“ [2]). Подобныхъ выписокъ можно сдѣлать изъ юношескихъ повѣстей Гоголя очень много. Онѣ показываютъ, какъ сильно повліяло на его воображеніе вертепное изображеніе запорожца. Но наиболѣе характерными являются нѣкоторыя мѣста въ „Страшной мести“ и въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Въ первой повѣсти читаемъ: „Всѣ показывали со страхомъ пальцами на стоявшаго посреди нихъ казака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу“ [3]). Казакъ, очевидно, долженъ тотчасъ же вступать въ отправленіе своихъ функцій: плясать, балагурить и пить. Дѣйствительно, немного далѣе Данило жалуется на тестя: „Живетъ около мѣсяца, и хоть бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, Катерина: не захотѣлъ меду выпить, который я вытрусилъ у Брестовскихъ жидовъ... Горѣлки даже не пьетъ! Экая пропасть!“ и дѣлаетъ отсюда своеобразный логическій выводъ: „Мнѣ кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не вѣруетъ“ [4]).

Тарасъ Бульба тотчасъ при въѣздѣ въ Сѣчь натыкается на картину общей пляски громадной толпы казаковъ: „въ срединѣ... отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши шапку чортомъ и вскинувши руками... Около молодого запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслися въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно убитую землю... Толпа росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо свѣтъ, и который по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ“. Пляска сопровождается и бѣшеной по-

[1]) Пропавшая грамота. Соч. Гоголя, т. I, стр. 84.
[2]) Ib., стр. 86.
[3]) Страшная месть, гл. I, стр. 115.
[4]) Ib., стр. 154.

пойкой [1]). Далѣе изображается разгульная и праздная жизнь Запорожья: „Вся Сѣчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій свой конецъ“. Это „было просто разгулье веселости“, „пьяной“, „шумной“, но не „мрачной-искажающей“ [2]). Наконецъ, Гоголь рисуетъ намъ и картину пьянства и разгула по случаю выбора кошевого [3]).

Такимъ образомъ, мы видимъ, запорожецъ въ этихъ повѣстяхъ является въ костюмѣ своего вертепнаго образца и со всѣми его отрицательными чертами, которыя Гоголь, слѣдуя народному міровоззрѣнію, слегка оноэтизировалъ. При этомъ рядъ картинъ въ его пропзведеніяхъ вызываютъ въ нашей памяти аналогичныя сцены изъ вертепа.

Но не забылъ Гоголь и положительныхъ чертъ традиціоннаго типа. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ стоятъ доблесть и храбрость въ борьбѣ съ врагами родины и вѣры. Представляясь Екатеринѣ II, его казаки жалуются на то, что имъ платятъ неблагодарностью за ихъ вѣрную службу: „Развѣ держали мы руку поганаго татарина? развѣ соглашались въ чемъ-нибудь съ турчиномъ... Чѣмъ виновато запорожское войско? Тѣмъ-ли, что перевело твою армію черезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?“ [4]).

„Думай себѣ, что хочешь“, коритъ Данило колдуна-тестя: „думаю и я себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги таскаются, Богъ знаетъ гдѣ, когда православные бьются насмерть, а послѣ нагрянутъ убирать не ими засѣянное жито. На уніатовъ даже не похожи: не заглянутъ въ Божію церковь“ [5]). Онъ садитъ тестя въ „глубокій подвалъ“ „за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной русской земли—продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви!“ Лютая казнь ждетъ колдуна со стороны казаковъ за такое безбожное дѣло [6]). Еще далѣе мы встрѣчаемъ пана Данилу въ битвѣ съ ляхами [7]). Какъ для каза-

[1]) Тарасъ Бульба, гл. II, стр. 266—267.

[2]) Ib., гл. III, стр. 268—269. Ср. и образъ жизни Пацюка въ „Ночи подъ Рождество“, стр. 121.

[3]) Ib., гл. III, стр. 275.

[4]) Ночь подъ рождество. Соч. Гоголя, т. I, стр. 136.

[5]) Страшная месть, гл. III, стр. 151.

[6]) Ib., гл. VI, стр. 161—162.

[7]) Ib., гл. IX, стр. 167—169.

ковъ Хмѣльницкаго въ „Милости Божіей“, война для него и жизнь и праздникъ. „Эхъ, если бы знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками!“ вспоминаетъ онъ: „На головѣ моей виденъ и донынѣ рубецъ. Четыре пули пролетѣло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совсѣмъ... Охъ, не воевать уже мнѣ такъ!... мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу“. Когда же онъ узнаетъ о приближеніи ляховъ, настроеніе его тотчасъ мѣняется: „Видно еще разъ доведется намъ погулять на славу! Натѣшься же козацкая душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ праздникъ“ [1]).

Но спеціально героической сторонѣ казачества посвященъ „Тарасъ Бульба“. „Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ“, описываетъ Гоголь Сѣчь: „показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста... По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!“ [2]) Тарасъ Бульба излагаетъ своеобразную философію, что „и Богъ, и святое писаніе велитъ бить бусурменовъ“, даже если съ ними подъ клятвенною присягою заключенъ миръ. Онъ возмущенъ отказомъ кошевого начать военныя дѣйствія противъ турокъ: „Такъ, стало быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человѣкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это... на что мы живемъ?“ [3]). Вскорѣ мы видимъ величественную картину, какъ все Запорожье, какъ одинъ человѣкъ, подымается на защиту родины, вѣры и церкви противъ поляковъ и евреевъ [4]). Правда, они начинаютъ съ еврейскаго погрома, но затѣмъ мы видимъ, какъ они доблестно умираютъ за свой народъ и религію и на полѣ битвы [5]) и въ тяжкихъ пыткахъ [6]).

[1]) Ib., гл. IX, стр. 167.
[2]) Тарасъ Бульба, гл. II, стр. 266.
[3]) Ib., гл. III, стр. 272.
[4]) Ib., гл. IV, стр. 278—284.
[5]) Ib., гл. VII, стр. 313—319, IX, стр. 330—338, 340.
[6]) Ib., гл. II, стр. 267—268, гл. XI, стр. 356—357, XII, стр. 362—363.

Любопытно, что въ описаніи героической стороны козачества Гоголь въ „Тарасѣ Бульбѣ“ примыкаетъ къ „Милости Божіей“ Ѳеофана Трофимовича. Его казаки также презираютъ мирную жизнь [1]), всякое мирное занятіе, всякую нѣгу и роскошь [2]). Война единственный интересъ и радость ихъ жизни [3]). Пьяный запорожецъ, растянувшійся при въѣздѣ въ Сѣчь, запачкалъ дегтемъ алое дорогое сукно своихъ шароваръ „для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія“ [4]). Выступая въ походъ, Кошевой предупреждаетъ: „Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть—пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на опучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, колп попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они.... пригодятся во всякомъ случаѣ“ [5]). „Молодые козаки, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля“, однако на походѣ „много... добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей“ [6]). Всѣмъ остальнымъ они пренебрегаютъ. Какъ и Хмѣльницкій Трофимовича, Гоголь склоненъ видѣть въ этихъ качествахъ высшій идеалъ казачества. Все это однако могло быть почерпнуто обоими изъ одного и того же источника—казацкихъ думъ, но отъ такого рѣшенія вопроса удерживаетъ одно обстоятельство. И самъ Тарасъ и его дѣти, прежде чѣмъ явиться въ Сѣчь для обученія военному искусству, проходятъ сперва курсъ наукъ въ бурсѣ, какъ бы выполняя завѣтъ Трофимовича:

„И дѣтей своихъ, скоро отправлять науки
До сей же обучайте козацкои штуки“.

Этой программы соединенія науки въ юности и военной жизни въ мужествѣ мнѣ не встрѣчалось въ произведеніяхъ народной малорусской поэзіи.

Изъ типовъ отрицательныхъ остановимся прежде всего на дьяволѣ. Исторія литературы знаетъ два вида бѣса: во-первыхъ, сатану, мощ-

[1]) Соч. Гоголя, т. I, Тарасъ Бульба, гл. I, стр. 251—253.
[2]) Ib., гл. IV, стр. 268—270.
[3]) Ib., гл. IV и V, стр. 276, 286.
[4]) Ib., гл. II, стр. 266.
[5]) Ib., гл. IV, стр. 282—283.
[6]) Ib., гл. V, стр. 285.

наго противника Бога, князя міра сего, грознаго, величественнаго и властнаго; во-вторыхъ, простоватаго и неловкаго малаго, обыкновеннаго чорта, играющаго комическую роль въ анекдотахъ, сказкахъ и житіяхъ. Первый образъ ведетъ свое начало отъ Священнаго Писанія. Грозный Денница, ниспавшій какъ молнія, сатана, предлагавшій съ высоты храма іерусалимскаго Христу царскую власть надъ міромъ, послужилъ тѣмъ зерномъ, изъ котораго образовался этотъ типъ. Подобнымъ же владыкою міра выступаетъ сатана и въ „Никодимовомъ Евангеліи“, одномъ изъ наиболѣе популярныхъ и поэтичныхъ апокрифовъ. Тотъ же образъ сатаны, антитезы Бога, соперника Его въ обладаніи міромъ, мощнаго властителя въ отвоеванной себѣ области, мы встрѣчаемъ у Данта въ его „Божественной комедіи“, въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“ Тассо, „Потерянномъ раѣ“ Мильтона, „Мессіадѣ“ Клопштока, „Османѣ“ Гундулича. Въ концѣ концовъ этотъ типъ появляется передъ нами въ демонахъ Байрона и Лермонтова. До извѣстной степени знакомъ онъ и старому малорусскому театру. „Слово про збурене пекла“ XVIII в., построенное на основаніи Никодимова Евангелія, усвоило себѣ и образъ гордаго и властнаго сатаны. Люциферъ имѣетъ множество слугъ, знаетъ все, что дѣлается на землѣ, на небѣ и на краю свѣта. Онъ ненавидитъ Творца и Сына Божія и ведетъ неустанную борьбу съ Ними, надѣясь захватить въ свою власть самого Христа. Онъ царитъ въ аду надъ всѣмъ человѣческимъ родомъ, укрѣпляетъ свое царство и охраняетъ его стотысячнымъ воинствомъ. Правда, Христосъ побѣждаетъ его и уводитъ всѣ человѣческія души изъ ада, но царство Люцифера не кончилось. Изъ словъ самого Сына Божія мы узнаемъ, что адъ снова наполнится и сатанѣ будетъ надъ кѣмъ царствовать [1]).

Тотъ же типъ дьявола мы встрѣчаемъ въ драмахъ: „Царство натуры людской“, 1698 г. [2]), „Владиміръ“ Ѳеофана Прокоповича, „Торжество естества человѣческаго“, 1706 г., „Трагедокомедія“ Сильвестра Ляскоронскаго, 1729 г., пьеса, видѣнная академикомъ Гмелинымъ въ Тобольскѣ въ 1734 г., „Властотворный образъ“ Довгалевскаго, 1737 г., „Дѣйствіе на Рождество Христово“, первыхъ лѣтъ царствованія Ели-

[1]) Франко. „Слово про збурене пекла“. Записки наукового товариства во Львовѣ. 1908 г., I, стр. 5—50. Миронъ. „Южно-русская пасхальная драма“. Кіевск. Стар., 1896 г., VI, стр. 380—412.

[2]) Рѣзановъ. „Памятники русской драматической литературы“.

саветы Петровны, „Трагедокомедія Фотій“ Георгія Щербацкаго, 1749 г. Онъ не отразился въ произведеніяхъ Гоголя, такъ какъ дьяволъ „Портрета“, хоть и обладаетъ могучей властью надъ міромъ, хоть и врагъ неба и добра, умѣющій распалять дурные инстинкты человѣка и отвлекать его отъ идеаловъ добра и правды, но слишкомъ явно примыкаетъ къ западно-европейской литературѣ.

Этотъ перечень драматическихъ произведеній, гдѣ сатана изображенъ какъ князь міра, гордый повелитель ада и вѣчный противникъ Бога, приведенъ нами преимущественно потому, что въ этого типа пьесахъ встрѣчается инцидентъ съ Соломономъ. Оставленный случайно Христомъ въ аду, онъ приводитъ въ ужасъ сатану и чертей увѣреніемъ, что Христосъ вернется освободить его. Испуганные бѣсы сами выпроваживаютъ его изъ ада. Популярность Никодимова Евангелія, большое количество пьесъ, построенныхъ на немъ, привели къ распространенію въ Малороссіи и этого эпизода. Мало-по-малу онъ преобразовался въ разсказъ о казакѣ, смутившемъ цѣлый адъ [1]).

Этимъ разсказомъ, какъ извѣстно, воспользовался Гоголь въ своей повѣсти: „Пропавшая грамота“. Казакъ, у котораго черти украли шапку, спускается въ адъ, играетъ съ ними въ карты, обыгрываетъ ихъ и, пугая крестнымъ знаменіемъ, добываетъ не только шапку, но и коня, какъ вихрь, выносящаго своего сѣдока изъ адской бездны [2]).

Комическій типъ чорта ведетъ свое начало отъ житійной и аскетической литературы. Святые подвижники, предаваясь молитвѣ и лишеніямъ, торжествовали надъ всѣми искушеніями и уловками діавола. Онъ терялъ свой ореолъ владыки міра, потому что вступалъ въ борьбу съ аскетами и отшельниками, обрушивался на нихъ всѣми силами ада и оставался побѣжденнымъ и посрамленнымъ. Отсюда потеря страха предъ діаволомъ и изображеніе его уловокъ и ухищреній въ торжествующе-насмѣшливомъ тонѣ. Коварный и грозный діаволъ превращается въ простоватаго, играющаго комическую роль бѣса. Не безъ вліянія тутъ и классическія представленія о сатирахъ и фавнахъ, отъ которыхъ этотъ чортъ заимствовалъ и нѣкоторыя черты своей наружности. Всѣмъ извѣстно,

[1]) Миронъ. „Южно-русская пасхальная драма“, Кіев. Стар., 1896, VI, стр. 401. Гриченко. „Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ“. В. I, 1895 г., стр. 75—76. Гнатюкъ. „Житє і слово“, 1895 г., т IV, 346—347.

[2]) „Пропавшая грамота“. Соч. Гоголя, т. I, стр. 87—91.

какъ много въ житійной и аскетической литературѣ разсказовъ о бѣсовскихъ неудачахъ и о комическихъ положеніяхъ, въ которыя попадали иногда бѣсы. Я напомню только о томъ, какъ они принуждены были обрабатывать виноградники святому Конону. Типъ этотъ хорошо привился и на Руси. Уже въ житіи одного изъ древнѣйшихъ нашихъ святыхъ, св. Антонія Новгородскаго, разсказывается, какъ чортъ, желая отвлечь вниманіе святого отъ молитвы, забрался къ нему въ рукомойникъ и сталъ тамъ плескаться. Изловленный затѣмъ св. Антоніемъ въ этой посудинѣ, онъ изъ страха передъ крестнымъ знаменіемъ долженъ былъ исполнить желаніе святого и свозить его на своей спинѣ въ теченіе одной ночи въ Іерусалимъ и обратно въ Новгородъ.

Юмористическое отношеніе къ бѣсу еще усилилось въ XVII вѣкѣ, когда на Малороссію стала вліять литература западной Европы, гдѣ дьявола уважали еще меньше, чѣмъ на Руси.

Такое вліяніе западной литературы очень ярко сказывается въ „Четьяхъ-Минеяхъ“ Димитрія Ростовскаго. Но сильнѣе всего въ изображеніи чорта проявлялся комическій элементъ въ театральныхъ представленіяхъ. Какъ только они были вынесены за предѣлы церкви, на особые подмостки, тотчасъ же туда получили доступъ и бродячіе актеры-профессіоналы, которымъ поручались роли, непривлекавшія собою благочестивыхъ участниковъ мистеріи. Овладѣвъ такимъ образомъ ролью дьявола, они внесли въ ея исполненіе привычный имъ грубый комизмъ и шаржъ.

Въ такомъ видѣ переходитъ чортъ и на малорусскую сцену. Даже въ „Словѣ о збуреню пекла“, гдѣ господствуетъ совсѣмъ иное представленіе о сатанѣ, есть моменты, когда не только подчиненные бѣсы, но даже Люциферъ и Адъ являются въ комическомъ освѣщеніи. Когда Христосъ сокрушаетъ врата адовы, Адъ кричитъ: „Гвалтъ, панове! Врата ломятъ! И водою якоюсь острою насъ кропятъ!“ [1]). Конечно, эти крики сопровождались соотвѣтствующими прыжками и жестами Ада и чертей. Затѣмъ Христосъ уходитъ, уводя съ собою всѣ души, но случайно забываетъ Соломона. Люциферъ обрадовался было оставшейся жертвѣ, но Соломонъ пугаетъ его увѣреніемъ, что Христосъ вторично явится за нимъ. Встревоженный „Люциферъ мовитъ до слугъ своихъ: „Слуги мои, узмѣте, царя Соломона изъ пекла випровадѣте! Не жалую его, а нѣ Христа того, нехай сюда больше не приходитъ,

[1]) Кіевская Старина, 1896 г., т. VI, стр. 400.

пекломъ нашимъ и нами не тривожитъ“ (Въ той части бѣсы взяли Соломона и випроводили изъ пекла, и мовятъ такъ бѣси на Христа и на Соломона). Бѣси мовятъ: „Идижъ, иди за своемъ Христомъ, а тутъ не бувай, и пекломъ нашимъ и нами больше не полагай!“ Соломонъ скачучи почавъ спѣвати, Люциперъ изъ Адомъ плакати и ридати“ [1]).

Конечно, во всѣхъ пьесахъ, построенныхъ на Никодимовомъ евангеліи, которыя указаны нами выше, бѣсамъ приходится играть такую же плачевную роль, когда Милость или Власть Божія является для разгрома ада.

Въ юмористическомъ же видѣ являются черти и въ Комическомъ дѣйствіи Довгалевскаго 1736 г. Увлекая въ адскую бездну Ирода, они тащатъ его съ издѣвательствами и шуточками:

„О гостя вождѣленна, о друга прелюбезна!
Давно тя ожидаетъ глубочайша бездна!
Желалъ еси на свѣтѣ сладцѣ царствоваты,
Обаче лутше ти есть съ нами пребивати.
Первое бо съ Капномъ мѣсто означенно,—
Первѣйшихъ васъ не будетъ,—и саномъ почтенно;
Заслуга ваша знатна и вездѣ есть явна,
За что пеклна бездна вамъ готова здавна“.

Почти тѣми же словами встрѣчаетъ діаволъ и во „Властотворномъ Образѣ“ того же автора, 1737 г., первозданнаго человѣка послѣ его грѣхопаденія и смерти. На слова Правосудія:

„Се вашъ вѣчный рабъ, плѣнникъ и наслѣдникъ бездны“ сатана отвѣчаетъ:

„Ни, правосуде, но гость и другъ прелюбезній...
Обаче лучше ему съ нами пребывати.
Заслуга его знатна и предъ нами явна,
Его же желаніемъ ожидали здавна“.

Любопытно, что первые два стиха съ той же риѳмою и съ той же ироніей встрѣчаются неизмѣнно и въ малорусскомъ вертепѣ.

[1]) Ib., стр. 401—402.

Во второй интермедіи къ „Властотворному образу“ Довгалевскаго „выходитъ чортъ и несетъ жида за плечима“. Оказывается, онъ очень радъ своей находкѣ:

„Се уже обрѣтохомъ сожителя сѣни,
Котораго азъ ношу на ременах нинѣ..
І азъ его сохраню во моей державѣ,
І пребудетъ со мною во единой славѣ,
Да явится сожител во адѣ живущимъ“.

Онъ даетъ еврею заповѣдь не ѣсть хлѣба, такъ какъ и онъ самъ ничего не ѣстъ и не пьетъ, и обѣщаетъ тому выполненіе всѣхъ его желаній: „азъ ти рекохъ слово:

Аще что вопросишь, будетъ ти готово“.

Тѣмъ не менѣе все это не прельщаетъ еврея; тотчасъ по уходѣ дьявола, онъ бранитъ его и отказывается и отъ своего обѣщанія служить сатанѣ и отъ мѣста, которое предлагаетъ ему тотъ въ аду:

„Елей, цорній годъ іому, хоце поддурити!
А я таки не хоцу, сцобъ іому слузити...
А вунъ, капарникъ, казавъ, сцобъ хлѣба не исти,
Та все горнувъ на тое, сцобъ тамъ з нимъ засѣсти.
Елей, цорній годъ, хотѣвъ мене осукати,—
Неказавъ хлѣба исти, сцобъ з свѣта зогнати.
Цорнѣ гзерѣ, нехай вунъ на зиветъ на свѣтѣ,
А я все буду исти да якъ панъ сидѣти“ [1]).

Конечно, роль чорта здѣсь вполнѣ комическая.

Въ „Трагедокомедіи, нарицаемой Фотій“, кромѣ сатаны—князя міра, появляется и „шуточный бѣсъ“. Сатана такъ характеризуетъ послѣдняго:

„Ха, ха, ха. О гадкій! О мерзкій!
Весь еси піздѣвочный, весь смѣшный, весь дерзкій;
Только знаешь что твою братію Цыгани“ [2]).

[1]) Кіев. Стар., 1897 г., X, стр. 108—109.
[2]) Труды Кіевской Дух. Ак., 1877 г., XII, стр. 752.

Онъ играетъ роль шута при своемъ властелинѣ и пересыпаетъ его гордую и мѣстами патетическую рѣчь юмористическими вставками. Проф. Голубевъ говоритъ про него: „Шуточный бѣсъ, какъ Санчо-Панса у Сервантеса или, вѣрнѣе, какъ Мефистофель у Гете, отыскиваетъ комическую сторону въ мнимо-успѣшныхъ дѣйствіяхъ Сатаны“ [1]). Съ этимъ нельзя согласиться безъ оговорокъ. Дѣйствительно, онъ нерѣдко обращаетъ вниманіе Сатаны на смѣшное и позорное въ его роли. Когда тотъ хвалится соблазненіемъ Евы, нашъ бѣсъ пронизируетъ:

„Какъ мнѣ запомнѣть? Помню все до тонка цѣло:
Онъ, когда для обману жены немощныя
Ползалъ ты въ образѣ холоднаго змія,
Храбрый воинъ“ [2]).

Онъ же напоминаетъ своему владыкѣ о Христѣ и о побѣдахъ надъ еретиками святыхъ отцовъ на соборахъ. Ихъ онъ изображаетъ, впрочемъ, чертами, напоминающими описаніе Жериволомъ жертвеннаго козла во „Владимірѣ“ Ѳеофана Прокоповича:

„Сберутся люди бѣдны, драхлы, сухы, стары,
Безплотны, безкровны, что уже не мары
Одпымъ окомъ дивятся, только бородами
Чтось мало показны, да страшны посохами“ [3]).

Вспоминая о времени земной жизни Христа, онъ обращается къ Сатанѣ со словами:

„Подогнулъ тогда и ты хвостъ, и тебѣ утерты
Роги некогда, только помнишь при смерти
Маріинаго сына, отъ, тогда мы охъ, охъ!
Пропали, тамъ невдалось“ [4]).

Но въ его рѣчахъ есть и достаточная доля совсѣмъ несвойственной Мефистофилю льстивости. Такъ онъ по поводу потопа сравниваетъ Бога съ глупымъ хозяиномъ, который самъ помогъ хитрому

[1]) Ib., стр. 743.
[2]) Ib., стр. 750.
[3]) Ib., стр. 755.
[4]) Ib., стр. 753.

цыгану, обокравшему его садъ, перелѣзть черезъ заборъ [1]). Далѣе, онъ поддакиваетъ Сатанѣ въ его похвальбахъ изобрѣтеніемъ магометанства, противъ котораго св. отцы уже безсильны, такъ какъ магометанамъ внушено діаволомъ уклоняться словесныхъ споровъ и распространять свое ученье оружіемъ:

„Что жена сварлива
Порадитъ супротивъ мужика гнѣвлива;
То и оны порадятъ противъ меча словомъ“ [2]).

Наконецъ, онъ подхватываетъ и развиваетъ юмористическую характеристику папы Николая, начатую Сатаною [3]).

Такимъ образомъ это обыкновенный шутъ добраго стараго времени, то дерзкій, то льстивый, нахальный и трусливый въ одно и то же время.

Чортъ вертепныхъ пьесъ неизмѣнно комическаго типа.

Такъ въ польскомъ вертепѣ черный дьяволъ появляется затѣмъ, чтобы забрать жида на рога и унести его съ комическими ухватками въ адъ. То же онъ дѣлаетъ съ бродячимъ торговцомъ, вѣдьмой, Иродомъ. Утащивъ тѣло послѣдняго, чортъ возвращается, хвастаетъ своей силой и пляшетъ трепака. Все это выступленія несомнѣнно комическаго характера, но есть сцены, въ которыхъ, сверхъ того, дьяволъ подвергается поруганію. Такова, напримѣръ, сцена его встрѣчи со школьникомъ и съ бабой Малиновской. Мальчикъ удачно разрѣшаетъ задаваемыя ему чортомъ загадки и съ позоромъ прогоняетъ его, а баба Малиновская бьетъ бѣса кочергой [4]). Такимъ образомъ въ польскомъ вертепѣ чортъ является развеселымъ малымъ, потѣшающимъ своими шуточками и кривляньями невзыскательныхъ зрителей. Въ сценѣ со школьникомъ, который оказывается умнѣе его, онъ обнаруживаетъ свою простоватость, а при столкновеніи съ вопиственной бабой и трусость.

Ту же приблизительно роль играетъ чортъ и въ малорусскомъ вертепѣ. Онъ изображается здѣсь съ выпученными глазами, черпымъ, съ хвостомъ, рогами и черными крыльями. Его мы встрѣчаемъ въ

[1]) Ib., стр. 751—752.
[2]) Ib., 756.
[3]) Ib.
[4]) Перетцъ, op. cit., стр. 49 и 50.

сценѣ смерти Ирода. Въ ней онъ подхватываетъ трупъ Ирода въ свои объятія со словами, близко напоминающими пьесу Довгалевскаго: „Друже мій вірный, друже прелюбезний! Довго ждавъ я тебе въ глубочайшей бездні...“ [1]) и утаскиваетъ его въ адъ. Далѣе чортъ появляется по призыву запорожца, чтобы забрать убитаго тѣмъ еврея. Приглашеніе казака не обнаруживаетъ большого уваженія къ дьяволу: „Дідьку, дідьку, дідьку, го! Ходи сюды, будь ласкавъ, возьми собі жида, таки рідного твого діда, то-то зъ его гарне буде жаркé! що ты зъ роду не івъ таке; буде зъ тебе на цілий пість, відпасеся, то піднимешь и хвістъ“. Такъ-же неуважительно обращается онъ и съ явившимся на призывъ чортомъ, бранитъ его, бьетъ булавой и безъ церемоніи выталкиваетъ со сцены [2]). Мы уже разсказывали о томъ, какъ запорожецъ ловитъ за хвостъ одного изъ напавшихъ на него во время сна чертей и заставляетъ его плясать [3]). Кромѣ того, дьяволъ, какъ и въ польскомъ народномъ театрѣ, появляется иногда и въ другихъ случаяхъ, чтобы утащить къ себѣ въ преисподнюю какую-либо жертву, несмотря на всѣ ея мольбы и хитрости: цыгана, еврея и т. д. [4]).

Вообще чортъ малорусскаго вертепа довольно безобиднаго характера и играетъ возлѣ казака служебную и комическую роль. Онъ является по приглашенію запорожца, выполняетъ его порученія, терпитъ отъ него издѣвательства и побои, а если и пытается порой взять надъ нимъ верхъ, то неизмѣнно попадаетъ впросакъ, такъ какъ и умственно и физически слабѣе того.

Совершенно въ такомъ же видѣ является чортъ и въ повѣстяхъ Гоголя. Выше сказано, что эффектъ, который производитъ въ аду казакъ, явившійся туда за своей шапкой [5]), есть отраженіе того переполоха, въ какой приводилъ сатану и его подданныхъ Соломонъ стараго малорусскаго театра. Другая реминисценція того же типа драмъ, основанныхъ на Никодимовомъ евангеліи и изображавшихъ пришествіе Христа во адъ и побѣду Его надъ сатаной, заключена въ картинѣ Вакулы: „Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ церковной въ правомъ притворѣ, на которой

[1]) Маркевичъ, ч. I, явл. 17, стр. 43. Галаганъ, стр. 15.

[2]) Маркевичъ, явл. 17 и 18, стр. 56—57. Галаганъ, стр. 31.

[3]) Маркевичъ, явл. 20 и 21, стр. 59—60. Галаганъ, стр. 32.

[4]) О. Пч. „Отживающая или начальная форма вертепной драмы“. См. Кіевская Старина, 1884 г., IV, стр. 904.

[5]) Пропавшая грамота, стр. 89—91.

изобразилъ онъ святаго Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злаго духа; испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни попало“ [1]). Хотя тутъ и говорится о св. Петрѣ и страшномъ судѣ, но вся ситуація подходитъ именно къ первому приходу Христа во адъ для освобожденія человѣческихъ душъ изъ-подъ власти діавола.

Описаніе бѣса на первыхъ страницахъ „Ночи подъ Рождество“ совершенно въ существенныхъ чертахъ совпадаетъ съ наружностью вертепнаго чорта: тонкія ноги, козлиная бородка, рожки, длинный хвостъ и черный цвѣтъ тѣла [2]). Что его приключенія при столкновеніи съ Вакулой напоминаютъ его вертепнаго собрата, мы уже говорили нѣсколько выше. Похожденія чорта, выгнаннаго изъ пекла, прокутившагося въ пухъ и прахъ и заложившаго еврею свою красную свитку, которую тотъ продалъ, также не рисуютъ его въ очень выгодномъ свѣтѣ. Такимъ образомъ и у Гоголя бѣсъ во многихъ его повѣстяхъ простоватъ, довольно безобиденъ, комиченъ и играетъ плачевную роль.

Перейдемъ теперь къ типу еврея. Печальна и унизительна роль, которую отводилъ ему старый іезуитскій театръ. Онъ появляется на сцену, чтобы служить предметомъ всевозможныхъ издѣвательствъ и глумленій. Картинки одурачиванья и избіенія еврея, всякаго рода насилій надъ нимъ—излюбленный комическій пріемъ для приведенія зрителей въ веселое настроеніе. Уже въ комедіи объ Іосифѣ Гавватовича, 1651 г., есть сценка продажи школьнымъ сторожемъ палки еврею. Выманивъ у послѣдняго деньги, сторожъ вмѣсто того, чтобы отдать проданную вещь, пользуясь игрою словъ, просто колотитъ его палкой [3]). Ту же роль играетъ еврей и въ „Communia duchowna SS. Borysa y Hleba“, 1693 года. Сперва еврея одурачиваетъ казакъ, продавъ ему обыкновенную лошадиную шкуру за кожу съ турецкаго коня [4]).

Затѣмъ появляется чортъ, выгоняетъ еврея изъ-подъ шкуры, куда онъ забрался спать, заставляетъ его признаваться въ своихъ обманахъ и мошенничествахъ, отъ чего, впрочемъ, еврей искусно укло-

[1]) Ночь подъ Рождество. Соч., т. I, стр. 101.
[2]) Ib., стр. 100.
[3]) Морозовъ, стр. 60.
[4]) Кіевская Старина, стр. 38.

нается, и послѣ разныхъ глумленій уѣзжаетъ со сцены верхомъ на немъ, не обращая никакого вниманія на жалобы бѣдняка: „Пане дябле, повмили на мне не заедес, самъ себе обсукаес, сам себе заведес. Тыльчак и хороба у мене всенкіе, пусты, пане дябле, косточки бедные“. Онъ даже не хочетъ уважить просьбу своей жертвы не бить ее по крайней мѣрѣ „постронком“ [1]). То же видимъ и въ польскомъ вертепѣ. Интересъ многихъ сценъ для публики заключался въ побояхъ еврея и въ издѣвательствахъ надъ нимъ. Такъ одинъ изъ пастуховъ, узнавшихъ о рожденіи Христа, пока двое его товарищей поклоняются божественному Младенцу и подносятъ Ему скромные дары, избиваетъ во славу Его еврея-корчмаря, который не вѣритъ въ рожденіе Мессіи. Панъ Твардовскій, а иногда казакъ заставляетъ еврея съ еврейкой плясать предъ собой. Мужикъ, излѣченный евреемъ-цирюльникомъ, вмѣсто вознагражденія отплачиваетъ ему палочными ударами.

Подвергая еврея такому систематическому преслѣдованію и травлѣ, польскій театръ постарался и изобразить его самыми отталкивающими чертами, чтобы сдѣлать его достойнымъ своей участи.

Уже „Communia duchowna SS. Borysa y Hleba“ содержитъ въ себѣ строгій обвинительный актъ противъ евреевъ. Купивъ у казака за два талера лошадиную шкуру, еврей радуется, что совершилъ выгодную сдѣлку: „Чы не зыск тут, панове, за так мало гроси, турецкую скуру купыв, товар так хороси“. Затѣмъ онъ предается мечтамъ, какъ онъ будетъ торговать: „Я пива Ковенского кажу наробыты, з боцки ячменя двадцят, а, колы сытыти мед слахецки роскажу, таки гырдяка буде и лоб закрутыт тверды дубеняка. Юже не одну жменю усыпати казав у пиво, следцих головок напхаты, сцоб смацненко мужыцтву няному було. Кажу класты бугуну, сцоб лоб закрутыло“ [2]).

Намечтавшись въ такомъ родѣ, еврей ложится спать подъ лошадиной кожей, но является чортъ и выгоняетъ его изъ-подъ нея, при чемъ еврей обнаруживаетъ крайнюю трусость и смиренное низкопоклонство. Дьяволъ требуетъ отъ него отвѣта на рядъ обвиненій: „kto miesza do gorzałki wodę? kto y w innych napoiach ludziom czyni skodę? A kto kal wrzuca w miody swini?“. Еврей пользуется случаемъ обвинить во всемъ своихъ конкурентовъ по торговлѣ: „Ой не я, пане дябле, Лейба то завсюгды женет тылько смердзіонку, прыливает

[1]) Марковскій, op. cit., 39—42.
[2]) Марковскій, стр. 39.

воды, а до табаки сыпле завше цемерыци, а до ретки смажопой догтику з мажницп". „Боруг, мосци пане, Боруг! Онъ завсюгды, дою, уварыв, усипле у капусту гною" [1]). Такимъ образомъ оказывается, что евреи плутуютъ и мошенничаютъ не только ради денежной выгоды, но даже безъ всякой для себя пользы гадятъ товаръ, который продаютъ христіанамъ, исключительно изъ ненависти къ нимъ. Несмотря на его трусость, жадность и скупость беруть въ евреѣ верхъ надъ страхомъ. Когда дьяволъ требуетъ, чтобъ онъ сказалъ: „Wez tę skorę, diable", онъ, заикаясь, можетъ однако вымолвить только: „Ву, ву, ву, верни скуру, пане дябле" [2]). Еврей узко эгоистиченъ и мстителенъ. Когда чортъ требуетъ отъ него помощи въ составленіи списка людскихъ прегрѣшеній, еврей забываетъ о величайшихъ несправедливостяхъ, какія терпятъ, напримѣръ, хлопы отъ пановъ, а перечисляетъ исключительно свои обиды до самыхъ мелкихъ. Онъ жалуется, что паны теперь сами торгуютъ, отбивая заработокъ у евреевъ, что студенты сбиваютъ съ евреевъ шапки: „Пане дябле, студенци часомъ намъ здымуютъ сапки и на улыцах часом зацепают". Дьяволу приходится постоянно возвращать его къ темѣ и указывать на односторонность его сообщеній [3]). Въ переговорахъ съ „паном дяблем" относительно намѣренія того проѣхаться на немъ еврей обнаруживаетъ униженность характера, доходящую до полнаго отсутствія примитивнѣйшаго чувства собственнаго достоинства. Не желая потерять купленной имъ лошадиной шкуры и боясь физической боли, онъ ведетъ унизительнѣйшій торгъ съ дьяволомъ, не приносящій, впрочемъ, для него никакихъ результатовъ. Сперва онъ проситъ бѣса, чтобъ тотъ не глумился надъ нимъ, потомъ убѣждаетъ чорта, что тому невыгодно пользоваться имъ какъ лошадью, наконецъ хлопочетъ только объ одномъ, чтобы тотъ не билъ его „постронкомъ". Въ концѣ концовъ онъ примиряется со всѣмъ и послушно увозитъ на себѣ дьявола со сцены. Гораздо сильнѣе въ немъ скупость. Какъ мы видѣли, чорту такъ и не удалось вырвать у еврея согласіе на отобраніе у него лошадиной кожи.

Не привлекательнѣе еврей и въ вертепѣ 1790 года. Отнявъ у казака лукъ и карабинъ, онъ въ комической рѣчи, пересыпанной еврейскими словечками, созываетъ евреевъ въ войско:

[1]) Ib., стр. 40.
[2]) Ib., 41.
[3]) Ib., стр. 40—41.

„Gey cmey! asyn a surele, oj
Na woyski, żydowe, na woyski!...
Bo to ne fraski, budemo strylati,
Kozakiw w pen wytinati,
A z nas budut duchi utikati“ [1]).

Затѣмъ идетъ потѣшная сцена вооруженія евреевъ и воинскаго ученья, при чемъ, конечно, они обнаруживаютъ смѣхотворную неумѣлость и неловкость [2]).

Весь этотъ воинственный задоръ тотчасъ пропадаетъ, лишь только показывается казакъ: „Żydzi pochowaię się pod ławky y strzylaią na kozaka, mówią: pi!“ а затѣмъ увѣряютъ его, что они „Minachi“ „ys Picaewu“ (т. е. монахи изъ Почаева), но относительно бубна проговариваются, что это „Na szabas gugel“, и такимъ образомъ выдаютъ себя. Затѣмъ они сваливаютъ вину другъ на друга и бросаются толпою вонъ изъ корчмы [3]). Въ этой сценѣ обнаруживается комичная азартность и задоръ евреевъ, ихъ трусость, глупость и вѣроломство даже по отношенію другъ къ другу. Въ слѣдующей сценѣ еврей обвиняетъ мужика Ивана въ кражѣ у него денегъ, которыя самъ потерялъ. Онъ не хочетъ слушать никакихъ оправданій и тащитъ заподозрѣннаго къ пану, который, впрочемъ, хоть и подъ видомъ строгаго нейтралитета, держитъ сторону христіанина [4]). Тогда еврей пробуетъ подкупить Ивана обѣщаніемъ ему хорошаго жупана, если онъ укажетъ, гдѣ деньги. При этомъ онъ пытается надуть мужика, выдавая ему за жупанъ платокъ. Тотъ платокъ забираетъ, но снова подтверждаетъ передъ паномъ, что денегъ не бралъ и ничего о нихъ не знаетъ [5]). Эта новая сценка любопытна тѣмъ, что еврей всячески старается взять пронырливостью, оттѣснить мужика отъ пана и самому завладѣть панскимъ вниманіемъ. Чтобы тотъ не разслышалъ оправданій

[1]) Франко. До історіі украінского вертепа XVIII в. Записки Наукового Товариства“ во Львовѣ, 1906, IV, стр. 33.

[2]) Ib., стр. 34—35.

[3]) Ib., 35—36.

[4]) Подобную же сцену несправедливаго обвиненія евреемъ христіанина въ неплатежѣ денегъ за будто бы взятый въ долгъ товаръ см. въ скалецкой шопкѣ: Франко. До історіі украіньского вертепа XVIII в., 1906, V, стр. 25—26 Вмѣсто пана еврей обращается здѣсь къ жандарму, но правда въ концѣ концовъ торжествуетъ.

[5]) Ib., стр 37—40.

Ивана, онъ отталкиваетъ Ивана и кричитъ:

„Kudy ze ty lizesz Giwane, kudy że ty lizesz?
O wey mami twoy!“

Это повторяется дважды [1]).

Такимъ образомъ въ этой сценѣ мы встрѣчаемся съ недобросовѣстностью еврея, не задумывающагося обвинить христіанина въ преступленіи, лишь бы разыскать свои деньги; съ наглымъ обманомъ его въ выполненіи заключенныхъ сдѣлокъ, когда онъ мужику въ качествѣ жупана примѣриваетъ обыкновенный платокъ; съ пронырливостью и безпокойной глупой суетливостью [2]).

Еще мрачнѣе роль евреевъ по малорусской драмѣ. Ихъ обвиняютъ не только въ мошенничествѣ и обманѣ, но въ систематическомъ союзѣ съ поляками для угнетенія крестьянъ, доходящаго до послѣднихъ предѣловъ безчеловѣчности.

Уже „Милость Божія“ Ѳеофана Трофимовича указываетъ на этотъ союзъ евреевъ и поляковъ для совмѣстнаго угнетенія Малороссіи. Поляки, говоритъ у него Хмельницкій, „козака и за Жида не важатъ:

Милѣйшій имъ Жидъ, нежели Русинъ, и весьма честнѣйшій;
Съ Жидомъ они ѣдятъ, пьютъ, банкеты справляютъ,
А козака бѣдного за нѣзащо маютъ...
Нынѣ,—срамно и казать,—нынѣ сами сіи (т. е. казаки)
Жидамъ кланяются, и шапку въ рукахъ носятъ
Передъ ними, и ихъ якъ пановъ якихъ просятъ“ [3]).

Еще некрасивѣй роль евреевъ по пьесамъ Довгалевскаго.

Въ четвертой интерлюдіи къ Комическому дѣйствію еврей является назойливымъ и ненавистнымъ эксплоататоромъ мужицкаго труда. Евреи напялъ мужика довезти его съ товарами до ярмарки. Всю дорогу онъ безпокойно торопитъ возницу, такъ что наконецъ вызываетъ его на раздраженный отпоръ:

„Сиди жъ бо, коли сѣдишь, остилій поганче!
Якъ покину, то озметъ дьяволова мати“ [4]).

[1]) Ib., 40.
[2]) О послѣднемъ см. стр. 38.
[3]) Соч. Максимовича, т. I, стр. 490 и 491.
[4]) Кіевская Старина, 1897 г., X, стр. 99.

На угрозу еврея не заплатить денегъ мужикъ мрачно заявляетъ: „Я изъ горла выдеру, якъ року добуду“ [1]).

И по прибытіи на ярмарку положеніе мужика не стало лучше. Пока еврей торгуетъ въ своей палаткѣ, ему нужно и быковъ повести на пашу, и кашу сварить для себя и еврея, и накупить пропасть мелочей для своей Одарки. А еврей все не унимается:

„Скоро зъ вертайся съ насѣ, будесъ глядѣть тапѣ“ [2]).

Во второй интерлюдіи къ „Властотворному образу“ Довгалевскаго, 1737 г., указывается на низкопоклонство евреевъ, ихъ вѣроломство, склонность къ легкому заработку и вреднымъ съ общественной точки зрѣнія профессіямъ. Чортъ приноситъ еврея и предлагаетъ ему быть съ нимъ „во единой славѣ“ въ аду:

„Сей мнѣ, говоритъ онъ, завсегда послушливъ бываетъ
І всю мою заповѣдь в себѣ сохраняетъ“ [3]).

Еврей спѣшитъ угодить дьяволу:

„Дай зе, васець, писмецко, сцобъ мнѣ узе знати,
То взе не буду пана другого сукати;
Якъ росписесся, то одного буду знавъ
І сцо тѣлко приказесъ, то буду слухавъ“ [4]).

Но только тотъ скрылся, еврей тотчасъ мѣняетъ тонъ:

„А я таки не хоцу, сцобъ іому слузити,
А я таки все буду тутъ орандовати,
Горѣлку, мед, и пиво буду продавати,
Або по ярмаркахъ произдзатисъ буду
З одного да на другій съ тимъ цого не збуду“...

Особенно возмущаетъ его данная чортомъ заповѣдь не ѣсть хлѣба:

„А вунъ, капарникъ, казавъ, сцобъ хлѣба не ѣсти
Та все горнувъ на тое, сцобъ тамъ з нимъ засѣсти.

[1]) Ib.
[2]) Ib., 99.
[3]) Ib., 108.
[4]) Ib., 108.

А я все буду пити да якъ панъ сидѣти,
Толко не буду исти одно свинини;
Ухъ, тилко сцо спомянувъ, та не вдерзу слини!“ [1]).

Когда является цыганъ и спрашиваетъ его, не торгуетъ-ли онъ конями, еврей съ достоинствомъ отвѣчаетъ:

„Мы не того роду, щобъ кѣнми мѣняти;
Мнѣ дай тилко напиткомъ всякимъ спиковати“ [2]).

На насмѣшливый вопросъ цыгана: „А сала албо ковбасъ продавать не лучалось“? еврей обнаруживаетъ религіозный фанатизмъ, слѣпую преданность наставленіямъ своего раввина и грубое суевѣріе: „Не кази скоромного, отвѣчаетъ онъ, я и слухать не хощу, якъ бѣлзе будешъ казать, то навтеки скощу“.

„Насъ равъ бо намъ приказавъ не исти свинини,
А самъ узе на той свѣтъ посовъ есце вцора;
Тамъ вѣкъ тепер истъ въ небѣ вола соробора“.

Эта похвальба возмущаетъ цыгана:

„Коли жъ такъ, вже й іого дѣдко къ собѣ справивъ,
Бо коли бъ вѣнъ въ небѣ бувъ, небо бъ заплюгавивъ“.

Онъ бьетъ и прогоняетъ еврея, приговаривая:

„Дакъ мандруй з дѣдкомъ туда жъ до своей родини,
Або иди в подводу к царю Фараону,—
Будешь возить, якъ прежде, на собѣ квадрону“ [3]).

Но въ наиболѣе непривлядномъ видѣ является еврей въ пятой интерлюдіи, гдѣ онъ за 100 злотыхъ беретъ у польскаго пана въ аренду его православныхъ крестьянъ. Онъ не только собирается эксплоатировать ихъ трудъ, но изъ трусости хочетъ даже и ночью держать ихъ въ клѣткѣ скованными попарно. По счастью для крестьянъ

[1]) Ib., 108—109.
[2]) Ib., 109.
[3]) Ib., 109.

имъ на помощь является казакъ, который выпускаетъ ихъ изъ клѣтки, запрягаетъ пана и еврея въ повозку и уѣзжаетъ на нихъ [1]).

Съ иной стороны является намъ еврей въ Благовѣщенской мистеріи XVII в. Здѣсь онъ выступаетъ горячимъ сторонникомъ своей вѣры, за что и терпитъ наказаніе. Онъ вызываетъ русскаго на состязанье, чья вѣра лучше. Мѣриломъ служитъ число праздниковъ. Еврей предлагаетъ русскому считать праздники, при чемъ за каждый насчитанный праздникъ у противника выдирается по волосу изъ бороды:

„Коли бъ ꙗ тобѣ поцалъ свои свꙗта вилѣцати,
Могло бъ въ твоей бородѣ нѣ волоⷭ҇ка неⷭ҇тати.
Тилко веⷣлуⷮ едного звицаю“.

Русскій даже предоставляетъ еврею первому считать свои праздники, но тотъ не могъ ихъ припомнить безъ талмуда. Тогда принимается считать русинъ и выдираетъ противнику всю бороду. Такъ коварное предложеніе еврея и его религіозный фанатизмъ обратились на его же голову [2]).

Проходитъ нѣкоторое время и отношеніе малорусскихъ драматурговъ къ евреямъ становится снисходительнѣе. Въ пьесѣ Конисскаго „Воскресенье мертвыхъ“, 1746 г., еврей уже не угнетатель народа, а жертва польскаго самоуправства, жалкая и приниженная:

Ой вей миръ! Скаравъ мене Богъ с такимъ лихимъ паномъ!
Десь би гурсого лиха не знавъ и подъ татарскимъ ханомъ,
Якъ подъ нимъ бувъ: забравъ всю, сцо було, худобу.
А еще коли бъ бувъ не втѣкъ, прибивъ би до гробу.
Нехай ему аренда, и зунка, и дѣти!
А узе болсъ не хоцу отъ него терпѣти;
Будьто булсь панувъ нема, тулко панъ Подстолій,
Отъ которого я утѣкъ тулко сцо не голій:
Такъ мене зо всіого, такъ ограбивъ цисто,
Сцо ни въ кагалъ явитись, ни вити на мѣсто:
Забравъ миски, талѣрки, лозки и сукмани,
А послѣ хотѣвъ мене забити въ кайдани.
Я бацу, сцо лихо; порадившись зъ зоною,
Покинувъ еи зъ дѣтми; самъ утѣкъ ранніою зорою...

[1]) Кіевская Старина, 1897 г., т. XI, стр. 115—117.

[2]) Извѣстія Отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, 1908 г., т. IV, стр. 7[illegible]—84. См. Перетцъ. „Къ исторіи польскаго и русскаго народнаго театра“.

Еврей хочетъ искать себѣ другого пана, но побаивается:

„Колибъ тулко не натрапивъ знова на такого“ [1]).

Далѣе онъ беретъ въ аренду имѣнье пана Бандолія, но тутъ является Подстолій. Между панами происходитъ споръ изъ-за еврея. Не желая уступать его, Подстолій велитъ мужику разрубить еврея, чтобы онъ никому не достался. Мужикъ не хочетъ играть роль палача:

Такъ чортъ іого вгада, колибъ таки голій,
Щобъ знать, где хрещи поросли жидувски;
Та мижъ таки и не каты, пане П..пувскій“.

Разгнѣванные противорѣчіемъ паны бьютъ мужика:

„Що съ хлопемъ веле гадаць! даць му бузупемъ по барку“

Тотъ не выдерживаетъ побоевъ и готовится уже „опоганить хрестянску сокиру“: „Ой, лихо, не вдержусь! Панове мералне, ратуйте, хто въ Бога вѣруе! бо духу не стане“, кричитъ онъ, но, не получивъ помощи, уступаетъ: „Дакъ кладѣть, може и вгадаемъ; Однакъ свинней рубали, ще й жидувъ спитаемъ. Ей, попоганю хрестянску сокиру.“

Но тутъ появляется москаль, которому нашъ герой и приноситъ жалобу на пановъ, которые принуждали его къ тому.

„Щіо чого наши батьки з роду нечювали,
Щіобъ крестянскю сокиру да на жидахъ каляли,
Тую, щіо къ великодню свининѣ рубаемъ“ [2]).

Москаль выручаетъ и мужика и еврея, запрягаетъ пановъ, пробуетъ уѣхать на нихъ, но ляхи разбиваютъ его повозку. Тогда москаль колотитъ мужика за то, что онъ плохо взнуздалъ ихъ, и разгоняетъ всѣхъ [3]).

Не такъ благодушно настроенъ по отношенію къ евреямъ малорусскій вертепъ. Еврейская чета, появляясь на сценѣ, предается сладкимъ мечтамъ о тѣхъ временахъ, когда самъ Богъ защищалъ ихъ народъ и губилъ ихъ враговъ:

[1]) Древняя и новая Россія, 1878 г., т. III, стр. 252.
[2]) Ib., 252—253.
[3]) Ib., 253.

„Явреевъ самъ Богъ засциcцавъ,
За огненнымъ стовпомъ ихъ ховавъ,
Сце друге цудо винъ лучее изробифъ,
Якъ у Цорному морю все вiйско затопифъ".

Въ этомъ монологѣ слышится противная смѣсь трусости съ жестокостью.

Но евреи не теряютъ надежды на возвращеніе этихъ блаженныхъ временъ своей безопасности и господства.

Они ждутъ прихода Мессіи:

„Вінъ накъ, якъ прійде,
Кругомъ насъ обійде
И сказе такъ:
Цесні явреі! Я — царь васъ,
Теперь и свiтъ весь пасъ" [1]).

Такимъ образомъ евреи обвиняются въ стремленіи къ господству надъ всѣмъ міромъ.

И въ вертепѣ еврей занимается торговлею водкой. Казакъ отбираетъ у него, впрочемъ, горілку сплой. Еврей такъ трусливъ, что весь трепещетъ отъ страха, подавая посудину съ нею запорожцу, такъ что послѣдній долженъ ему сдѣлать внушеніе:

„Не труси бо, гадючій сыну, бо зубы побьешъ" [2]).

Скупость еврея такъ велика, что потеря оплаченной имъ водки для него равносильна потерѣ собственной крови. „А цузої крові напився, та й самъ скрутився!" злорадно говоритъ онъ, увидѣвъ, что казакъ отъ выпитой горілки охмелѣлъ. Не имѣя силы и мужества для открытой борьбы, еврей не прочь расправиться со своимъ обидчикомъ вѣроломнымъ способомъ, не подвергая себя опасности. Такъ онъ пробуетъ задушить потерявшаго отъ хмеля сознаніе козака, но и это ему не удается вслѣдствіе его крайняго слабосилія [3]).

---

[1]) Маркевичъ, явл. 15, стр. 54; варіантъ сильно отличается отъ приведеннаго. Галаганъ, стр. 29.

[2]) Галаганъ, стр. 30. Маркевичъ, явл. 17, стр. 56.

[3]) Галаганъ, ib. Маркевичъ, ib.

Такимъ образомъ въ малорусскомъ вертепѣ еврей не представляется уже народу опаснымъ и грознымъ угнетателемъ и притѣснителемъ, жестокимъ эксплуататоромъ народнаго труда, но все же надѣленъ цѣлымъ рядомъ несимпатичныхъ чертъ: онъ слабъ и трусливъ, жаденъ, мстителенъ, жестокъ, вѣроломенъ, живетъ эксплуатаціей народнаго порока и мечтаетъ о порабощеніи себѣ съ помощью Мессіи всѣхъ народовъ.

Много изъ этихъ чертъ перешло въ изображенія еврея въ юношескихъ повѣстяхъ Гоголя. Неизмѣнной профессіей евреевъ является шинкарство. Когда Голопупенко сватается за дочь Черевика, они тотчасъ же „всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной рестораціи—подъ яткою у жидовки, усѣянною многочисленной флотиліей сулей, бутылей, фляжекъ всѣхъ родовъ и возрастовъ“ [1]). Высланный изъ ада чортъ кутитъ въ шинкѣ у еврея и отдаетъ ему въ закладъ свою красную свитку [2]). Предмѣстье Сѣчи наполнено евреями, торговцами всякой мелочью и шинкарями [3]). Потребность въ корчмарствѣ и торговлѣ у еврея вторая натура. Какъ въ интерлюдіи Довгалевскаго еврей, только что отпущенный чортомъ, моментально начинаетъ мечтать о томъ, что онъ будетъ „гандлювать“ и „всякіе напитки синковать“, такъ и Янкель у Гоголя, едва спасшись отъ неминуемой смерти со стороны запорожской черни, немедленно же снова принимается за привычное занятіе: „Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобья, нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбы. „Каковъ чортовъ жидъ!“ подумалъ про себя Тарасъ и, подъѣхавъ къ нему на конѣ, сказалъ: „Дурень, что ты здѣсь сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?“ Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣлъ объявить что-то таинственное, сказалъ: „Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не про-

[1]) Сорочинская ярмарка, гл. III. Соч. Гоголя, т. I, стр. 17.

[2]) Ib, гл. VII, стр. 24—25.

[3]) Тарасъ Бульба, гл. III, стр. 270. Панъ Данило свой медъ „вытрусилъ“ у брестовскихъ евреевъ. „Страшная месть“, гл. IV, стр. 154.

давалъ; ей-Богу, такъ; ей-Богу, такъ.“ Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жидовской натурѣ и отъѣхалъ къ табору“ [1]). Съ опасностью жизни, едва не попадая за это на висѣлицу, проникаетъ Янкель и въ Дубно съ цѣлью выгодно продать награбленный козаками жемчугъ [2]). И все это дѣлается не отъ храбрости и презрѣнья къ смерти. Вспомнимъ унизительную трусость, которую обнаруживаетъ этотъ-же Янкель и его соплеменники во время погрома ихъ въ Запорожьѣ [3]). Вспомнимъ паническій ужасъ, овладѣвшій имъ, когда Бульба разсердился на него за извѣстія объ Андріѣ. „Тарасъ Бульба выхватилъ свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарасъ вовсе не гнался за нимъ“ [4]).

Но жадность къ деньгамъ, какъ и въ евреѣ старой польской и малорусской драмы, въ немъ сильнѣе даже страха смерти. Къ чести Янкеля въ немъ есть и другое чувство, преодолѣвающее въ немъ не только боязнь смерти, но и алчность къ золоту,—это чувство благодарности къ Тарасу Бульбѣ. Это однако уже черта не традиціонаго типа, а добавлена Гоголемъ для смягченія отрицательныхъ его чертъ.

Жадность еврея увлекаетъ его и къ нечестнымъ поступкамъ. Такъ красную свитку чорта шинкарь поспѣшилъ продать до возвращенія за нею залогодателя, такъ какъ эта операція сулила ему большой барышъ [5]).

Дѣятельность еврея разорительна и губительна для народа. „Янкель... уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружающихъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское присутствіе въ той странѣ. На разстояніи трехъ миль во всѣ

[1]) Тарасъ Бульба, гл. IV, стр. 283—284. См. также гл. X, гдѣ Янкель получаетъ отъ Тараса Бульбы червонцы, ib., стр. 345.

[2]) Ib., гл. VII, стр. 309 и 311.

[3]) Ib., гл. IV. „Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ; козаки вездѣ ихъ находили“, стр. 280.

[4]) Ib., стр. 312.

[5]) Сорочинская ярмалка, гл. VII, стр. 24.

стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась бѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если-бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство“ [1]).

Отмѣчена и другая черта, которую мы видѣли еще въ изображеніи еврея въ „Communia Dychowna SS. Borysa y Hleba“ и въ пертепѣ 1790 г. Евреи въ моментъ опасности пускаются на лесть и стараются свалить вину другъ на друга. Когда козаки, узнавъ о событіяхъ на Украйнѣ, принялись избивать евреевъ своего предмѣстья, одинъ изъ нихъ прибѣгъ къ ораторскому искусству.—„Ясные паны!“ произнесъ жидъ. „Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!“ Голосъ его замиралъ и дрожалъ отъ страха. „Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! Ей Богу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?“ „Ей Богу, правда!“ отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина“ [2]). Льстивость свою Янкель особенно рельефно примѣняетъ, когда ублажаетъ гайдука, сторожившаго Остапа [3]). Къ этой льстивости иной разъ примѣшивается изрядная доля нахальства. „Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: „Когда мы да Богъ захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно“ [4]).

Но главное обвиненіе, тяготѣющее надъ евреями, заключается въ томъ, что они въ союзѣ съ поляками угнетаютъ малорусскій народъ и православную вѣру. „Такая пора теперь завелась, сообщаютъ въ Сѣчи бѣглецы изъ Украйны: „что уже церкви святыя теперь не наши... Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править... И если разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи

[1]) Соч. Гоголя, т. I. Тарасъ Бульба, гл. X, стр. 344.
[2]) Ib., гл. IV, стр. 281.
[3]) Ib., гл. XI, стр. 352—353.
[4]) Ib., гл. XI, стр. 349.

нельзя... жидовки шьютъ себѣ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украйнѣ, панове!“ [1]).

При всемъ томъ, какъ и въ старомъ польскомъ и отчасти малорусскомъ театрѣ и вертепѣ, евреи загнанныя, забитыя и жалкія существа. Мы уже видѣли, какая судьба постигла евреевъ, жившихъ въ предмѣстьи Сѣчи. Гоголь правъ, говоря, что „участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія“ [2]). Но не многимъ лучше отношеніе къ евреямъ со стороны поляковъ. „Все, что ни есть недобраго, жалуется Янкель: „все валится на жида; потому что жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человѣкъ, коли жидъ!“. Еврейскую горѣлку „Богъ на то создалъ, чтобы ее всякій пробовалъ! Тамъ все лакомки, ласупы: шляхтичъ будетъ бѣжать верстъ пять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку“. Рыбу у еврея „раскрадутъ“, такъ какъ „по всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки“ [3]). Хорунжій Галяндовичъ за просьбу вернуть долгъ едва не повѣсилъ Янкеля, „какъ собаку“. „Уже было его слуги, разсказываетъ еврей, совсѣмъ схватили меня и закинули веревку на шею“ [4]). Несчастный Мардохай, такъ смѣло причислявшій къ компаньонамъ своихъ продѣлокъ самого Бога, носилъ обильные слѣды реагированья на свою необычайную мудрость: „Верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась еще отъ посторонннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна“ [5]). Попытка спасти Остапа стоила ему послѣдняго локона [6]).

Такимъ образомъ, и здѣсь въ поэмѣ Гоголя, какъ и въ старомъ театрѣ польскаго и малорусскаго народа, роль еврея крайне плачевна: надъ нимъ всякій издѣвается, его безнаказанно грабятъ, бьютъ и даже

[1]) Ib., гл. IV, стр. 279.
[2]) Ib., гл. III, стр. 270.
[3]) Ib., стр. 346.
[4]) Ib., гл. VII, стр. 309.
[5]) Ib., гл. XI, стр. 349.
[6]) Ib., стр. 350.

убиваютъ. Но нѣтъ у Гоголя той наивной жестокости, которая была въ сердцахъ образованныхъ посѣтителей этого театра и простодушныхъ зрителей шопки и вертепа. Поэтому сцены глумленія и насилія надъ евреями подъ его перомъ производятъ совсѣмъ иное впечатлѣніе. Нѣкоторыя мѣста, очевидно, разсчитаны на то, чтобы вызвать въ читателѣ гуманное чувство: „Это было мертвое тѣло женщины, повидимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видѣть. На головѣ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить послѣднее дыханье“ [1]).

Рядомъ съ евреемъ слѣдуетъ поставить и неразлучный съ нимъ типъ польскаго пана. Конечно, мы напрасно бы искали источниковъ его въ іезуитской драмѣ. Но розпь между сословіями въ Польшѣ была настолько велика, что въ польскомъ вертепѣ онъ уже выступаетъ со своими существенными чертами: хвастливостью, тщеславіемъ, бѣдностью и стремленіемъ къ показной роскоши. На сценѣ появляется „капризный шляхтичъ, хвастающійся своимъ знаніемъ свѣта,—онъ былъ вездѣ и все видѣлъ. Онъ приказываетъ слугѣ принести яблоковъ... ихъ нѣтъ; вмѣсто миндаля тотъ ему приноситъ рѣзаной рѣпы. Шляхтичъ требуетъ серебряную табакерку, но, когда слуга приноситъ деревянную, онъ мирится и съ этимъ“ [2]).

Съ этими чертами переходитъ польскій шляхтичъ и въ малорусскую драму. Такъ въ первой интерлюдіи къ „Комическому дѣйству“ Довгалевскаго выступаетъ „Шляхтичъ урожденный“, который хвалится своей родовитостью, разумомъ Катона, мужествомъ Гектора, знаніемъ всего, что дѣлается въ пеклѣ и на небѣ, но жалуется, что не имѣетъ даже одежды. Онъ пытается выдать себя мужикамъ за „польскей

[1]) Ib., гл. VI, стр. 293.
[2]) Перетцъ, op. cit., стр. 51.

науки остролога", но тѣ, попявъ, что это за птица, насмѣхаются надъ нимъ и прогоняютъ его.

Въ третьей интерлюдіи это уже жестокій и трусливый угнетатель православнаго крестьянства. Панъ на охотѣ. Онъ имѣетъ сокола „Do przepiuleczek nie barzo leniwa", но ему еще хочется и другого: „Jednak że żądam od poddanstwa swego, gdyby przyniesli iastremba drugiego". Дѣйствительно, появляются литвины и заявляютъ:

„Моспане мы къ тобіе с поклономъ пришлѣ
І саколю мащь до твоіеи мѣлосцѣ приніеслѣ".

Подарокъ сопровождается привѣтствіемъ: „На здорове тобе пане, Нехай и паней стане: і всѣмъ дзіеткамъ вашимъ". Но не понравился пану привѣтъ:

„Wez tylo chłopcze postronki drotowej",

командуетъ онъ:

„Wez no chłopcze tylo sam woyta iak starżego.
Biy, tłucz, wal, pal, biy dobże tamże y drugiego.
Cu ż to za dziwo do mnie y iaka przyczyna
Chłopa zabic-ubic, iak skurwego syna".

Не ожидавшіе такой награды литвины покорно просятъ отпустить ихъ душу на покаяніе:

„Ну жъ моспане и меніе еще прохварасцѣ,
А прохварасцѣвши та и до дому пусцѣ".

Панъ замѣчаетъ въ этомъ признакъ бунта:

„chłopcze! day że dobrże y temu,
Sto kijow odmieri tak iak y drugiemu
Y day go Bogu, iaka to chłopska odwaga,
Znać że to moskał abo kozak iemu dopomaga" [1]).

Тутъ у него разыгривается польскій патріотизмъ. Онъ мечтаетъ о возвращеніи Украины, изгнаніи изъ нея козаковъ:

„Niech że po wszystkich stronach polska sława słynie".

[1]) Кіевская Старина, 1897 г., X, стр. 97.

Онъ грезитъ о помѣстьяхъ въ кіевской, глуховской области, помощи отъ французскаго короля и собираетъ цѣлое войско изъ пановъ съ непристойными фамиліями: „Co będziemy czynic? обращается онъ къ нимъ: już wielka gromada,

tyłko ż by nie byla b z waspanstwa zrada;
Gdy kozacy będą napadać surowo,
Stoycie, nie buyciesię, kładcie glowo z glowo.
Nie buysię, wac, gdyby tu kozacy przyszli,
My by tu ich kanczukiem w lasy wprowadzili“ [1]).

Но тутъ появляются козакъ съ москалемъ и быстро справляются со всѣмъ шляхетскимъ войскомъ. Напрасно панъ взываетъ:

„Numy też bracia chwytac do swego oręża,
Aby nie utracic żadnego żołnerża“.

Москаль прописываетъ имъ „рубежи Украйны кнутами на спинѣ“ при горячемъ сочувствіи козака [2]).

Еще позорнѣе поведеніе польскаго пана въ пятой интерлюдіи къ Властотворному образу. Онъ всячески измывается надъ своими подданными: „запрягъ у ярмо Потапа“ [3]), а другихъ вывозитъ на продажу въ клѣткѣ и отдаетъ еврею въ аренду [4]), разрѣшая ему для безопасности сковывать ихъ попарно.

„А буд ласкавъ паночку змилуйся над намы“,

молятъ мужики: „Прійшлося терпѣты

Несподѣване лихо ось в турмѣ сидѣти
Прійшлос, а тепер моя нещасная доле!
Тилко що бувъ бичаткомъ винхавъ у поле,
Ажъ ось ти пане бѣжишь до мене на ниву,
Да и казав взят у мене кобилчину сиву,

[1]) Ib., стр. 97—98.

[2]) Ib., 98. Это напоминаетъ сборы еврейскаго войска на борьбу съ козаками въ вертепѣ Франка, 1790 г.

[3]) Ib., кн. XI. стр. 117.

[4]) Ib., 116.

А минѣ зказалы бика запрягати,
Дакъ я вже то сюд то туд да и покинув жаты
І посовтавъ до дому, да всовтався въ лихо“ [1]).

Но папа этимъ не разжалобить. По счастью для мужиковъ является козакъ. Ляхъ тотчасъ обнаруживаетъ крайнюю степень трусости и низкой льстивости, которой мы не замѣчали въ предшествующей интермедіи:

A mospanie kozacze nade mno zmiłuysię
Y takiey mey głuposci prosze nie dziwuysię,

упрашиваетъ онъ:

„A bądz łaskaw mospanie na mnie swego sługe
Już dalebog nie będę tego csynic wdruge“.

Тѣмъ не менѣе ему приходится запрягаться въ повозку: „Годѣ калантурит“, прерываетъ его козакъ: „звол шію в ярмо класты да поидем до мене з жидомъ овецъ пасты“ [2]).

У Конискаго въ Воскресеньи мертвыхъ ляхъ является главнымъ образомъ притѣснителемъ беззащитнаго еврея [3]). Правда, и мужику достается отъ поссорившихся изъ-за еврея пановъ. Они относятся къ нему высокомѣрно: „Чинь же, цо ци кажон, бо ці утне карку“, кричитъ Бандолій. „Цо съ хлопемъ веле гадаць! даць му бузунемъ по барку“, подхватываетъ Подстолій. Свои слова они тотчасъ же и приводятъ въ исполненіе. Однако мужикъ имъ повинуется медленно и неохотно. У него уже есть сознаніе своей силы: „Ой, коли пъ тутъ муй земъко, може бъ и мы знали; бо ми такихъ чортувъ неразъ въ чирмачки вбирали“ [4]). Паны пугаются одного звука долетѣвшей до ихъ ушей пѣсни москаля: „Моспане пане, москаль спѣва“, а затѣмъ подчиняются процедурѣ запряганія въ его повозку [5]). Это обстоятельство напоминаетъ впечатлѣніе производимое на ляха пѣсней козака въ малорусскомъ вертепѣ.

[1]) Ib., 116.
[2]) Ib., 117.
[3]) Древняя и новая Россія, 1878 г., т. III, стр. 252—253.
[4]) Древняя и новая Россія, 1878 г. Т. III, стр. 253.
[5]) Ib, стр. 253.

Въ четвертой интерлюдіи къ той же пьесѣ ляхъ „пяниця, ледащиця всѣ вукна (въ шинкѣ) повибивавъ и дячка молодаго шаблею порубавъ, и втѣкъ конемъ“ [1]). Мужики съ помощью колдовства ловятъ убійцу. „Ахъ, жалуется онъ, воле я въ Чистцу сто лятъ церпѣць менки, нижели въ хлопске теразъ попадне сен ренки“. Тутъ присоединяется мотивъ боязни попасться въ руки бунтующихъ хлоповъ[2]). Панъ находитъ, что „шляхциця за дзяка трациць се негодзи: пенць копъ вамъ за хлопа уплаце гловщине“. Но у мужиковъ болѣе демократическіе взгляды: „Овъ, негудній сине! Якъ же ти дешево ставишь дека дорогого? Двадцять васъ нестоитъ за одного такого“. Они топятъ ляха въ болотѣ [3]).

Въ пятой интерлюдіи находимъ насмѣшку надъ католическими молитвами и духовенствомъ. Особенно подчеркивается формализмъ его. Оказывается, душа утопленнаго шляхтича не можетъ попасть въ чистилище, по мнѣнію ксендза, не за убійство православнаго дьяка, а вслѣдствіе смерти безъ покаянія [4]). „Я мове, говоритъ онъ: „сповядайсе,—яке гржѣхи твое? Онъ (ляхъ) кршили: пьянство, збродни, гултайске розбои, барзей, жемъ забилъ дьяка; хлопы осонздали, непусцивши до ксенза, въ те блото вржучили“ [5]). Ксендзъ горячо начинаетъ вызывать своими молитвами утопшаго, но, когда его усилія увѣнчиваются успѣхомъ, являются мужики и разгоняютъ всѣхъ.

Ляхъ малорусскаго вертепа тоже горячій польскій патріотъ. Онъ также хвастунъ, хвалящійся своими похожденіями и мнимыми подвигами. Онъ жестоко обращается со своимъ слугой, ругаетъ гайдамаковъ и заносчиво заявляетъ:

„Якъ Бога кохамъ, еденъ тшидзести гайдамакъ забіе!“.

Однако стоитъ ему услышать пѣсню запорожца, какъ онъ обнаруживаетъ полную трусость и поспѣшно убѣгаетъ [6]).

[1]) Ib., стр. 254.

[2]) Ср. у Гоголя „На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ казачьихъ лапахъ“. „Пропавшая грамота“. Соч. I, стр. 87.

[3]) Ib., 254—255.

[4]) Ib., 255—256.

[5]) Ib., 255.

[6]) Галаганъ, стр. 21—22. Маркевичъ, явл. 8, 9. См. стр. 50—51. Здѣсь нѣсколько иной варіантъ.

Нѣсколько иначе изображаются поляки у Гоголя. Онъ не лишаетъ ихъ ни храбрости, ни доблести. Достаточно вспомнить изображеніе битвъ подъ Дубномъ[1]). Онъ ограничивается только тѣмъ, что перевѣсъ мужества оставляетъ за козаками, уступая полякамъ даже счастье побѣды[2]). У него поляки также завзятые патріоты, но ихъ патріотизму приданъ героическій, а не комическій характеръ. Вспомнимъ отпоръ, который встрѣтили козаки подъ Дубномъ: „Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ домы... Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко было полѣзли на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на головы запорожцамъ полетѣли камни, бочки, горшки, горячій варъ и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ очи“[3]). А страшныя картины голода, который терпѣли осажденные, но который все-таки не побудилъ ихъ сдаться![4]) При столкновеніи патріотическихъ чувствъ козака и полячки на почвѣ любви, перевѣсъ остается на сторонѣ послѣдней. Въ горячемъ монологѣ она возмущается тѣмъ, что полюбила врага своей отчизны, но остается вѣрною долгу предъ нею. Она думаетъ найти ту же борьбу и въ сердцѣ Андрія. „Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня“, говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: „знаю и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; и знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, а мы — враги тебѣ“. Но Андрій, встряхнувъ быстро головою, съ рѣшительнымъ движеніемъ руки, отказался отъ всего этого ради красавицы полячки[5]).

Но другія качества традиціоннаго ляха сохранились и въ повѣстяхъ Гоголя безъ существенныхъ измѣненій. И у него ляхи — тщеславны и хвастливы. Особенно рѣзко эти черты высказываются въ

[1]) Тарасъ Бульба, гл. V, VII, IX, стр. 286—287, 291, 315—317, 330—340.
[2]) Ib., гл. IX и XII, стр. 340, 362—363.
[3]) Ib., гл. V, стр. 286—287.
[4]) Ib., гл. V, VI, стр. 291, 296—299.
[5]) Ib., стр. 305.

гайдукѣ, сторожившемъ Остапа. Онъ явно услаждается титулами ясновельможность, ясновельможный панъ, полковникъ, даже королевское величество, которыми улещиваетъ его Янкель. Похвалы послѣдняго военному сословію ему нравятся не меньше, а намекъ на его успѣхи у еврейскихъ дѣвушекъ вызываетъ изъ него „звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржанье". Требуя отъ еврея 100 червонцевъ, онъ хвастливо лжетъ: „Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ" [1]). Отличается хвастовствомъ и пузатый полковникъ, защищавшій Дубно: „Вотъ я васъ!" кричалъ сверху (со стѣны) дюжій полковникъ: „всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ?" Неудача вылазки не сбила съ поляковъ спеси. „На городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки. „Что, перевязали?" кричали имъ запорожцы. „Вотъ я васъ!" кричалъ все также сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины" [2]). Тщеславное желаніе казаться богатымъ и знатнымъ Гоголь подчеркнулъ въ изображеніи одного изъ поляковъ, собравшихся поглядѣть на казнь: „На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, и ни казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка, да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья" [3]). Это совершенно тотъ типъ пана, который мы встрѣтили еще въ польской шонкѣ.

Шляхтичъ пьяница, буянъ, насильникъ и грабитель. Мы уже знаемъ, какъ аттестовалъ этихъ людей Янкель. Они раскрадутъ у него рыбу. Шляхтичъ будетъ 5 верстъ бѣжать за возомъ, чтобы только выпить на даровщину водки изъ еврейской бочки [4]). Каждый изъ нихъ

[1]) Ib., гл. XI, стр. 352—353.
[2]) Ib., гл. VII, стр. 314 и 318.
[3]) Ib., XI, стр. 355.
[4]) Ib., гл. X, стр. 346.

„для собственнаго удовольствія“ готовъ „произвести обыскъ и ревизовку“ въ еврейскомъ добрѣ, „особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть“ [1]). Но полнѣе всего эта сторона жизни польскаго дворянства изображена въ „Страшной мести“. „На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дни Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, вѣрно, на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли. Паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православьемъ, зовутъ народъ украинскій своими холопьями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ“ [2]). Все это сильно напоминаетъ ляховъ изъ третьей рождественской интерлюдіи, готовящихся къ наѣзду на Украину. „Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!... Паны бѣснуются и отпускаютъ штуки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ... Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ про заднѣпровскій хуторъ пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дѣло собралась эта шайка!“ [3]).

Но хуже всего въ ляхѣ то, что онъ является злостнымъ и неутомимымъ угнетателемъ малорусскаго крестьянства и козачества. Польскіе магнаты „своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе“ [4]). Пятьдесятъ тысячъ польскаго войска, расположившись на Украинѣ, творятъ неслыханныя безчинства и насилія. Мало простой экономической эксплуатаціи и жестокаго обращенія съ народомъ, его подвергаютъ глумленіямъ и издѣвательствамъ: Божьи церкви сдаются въ аренду евреямъ, поповскія ризы продаются на юбки еврейкамъ, ксендзы ѣздятъ „по всей Украинѣ

[1]) Ib., гл., XI, стр. 346—347.
[2]) Страшная месть, гл. VIII, стр. 165
[3]) Ib., гл. VIII, стр. 166.
[4]) Тарасъ Бульба ib., гл. XI, стр. 357.

въ таратайкахъ", въ которыя „запрягаютъ уже не коней, а православныхъ христіанъ" [1]). Борцы за свободу вѣры и Украины истребляются съ неслыханнымъ вѣроломствомъ и жестокостью. Гетмана зажарили въ мѣдномъ быкѣ, руки и ноги его погубленныхъ полковниковъ развозятъ по ярмаркамъ всей страны на показъ и устрашеніе народу [2]). Не лучшая участь постигаетъ и другихъ малорусскихъ патріотовъ: Остапа [3]), Остраницу, Тараса [4]). Неудивительно, что наконецъ „поднялась вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа,— поднялась отомстить за посмѣяніе правъ своихъ, за позорное униженіе своихъ правовъ, за оскорбленіе вѣры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ [5]).

Мы видимъ, что Гоголь бросаетъ тѣ-же упреки полякамъ, какія и старинный малорусскій театръ.

Изъ національныхъ типовъ намъ остается теперь разсмотрѣть цыгана. И онъ переходитъ на малорусскую сцену съ польской. Намъ неизвѣстно случаевъ появленія его въ серьезной польской драмѣ [6]). Однако тамъ выступаютъ типы, близко родственные ему. Такъ въ интерлюдіи Гавватовича 1619 г. нѣкій Климко продаетъ мужику кота въ мѣшкѣ, выдавая его за лисицу. Пока тотъ развязываетъ мѣшокъ, чтобы посмотрѣть покупку, Климко крадетъ у него горшки и сукманъ. Затѣмъ онъ появляется переодѣтымъ, прикрываетъ украденные горшки сукманомъ мужика и увѣряетъ мужика, что тамъ лежитъ обманувшій его мошенникъ. Мужикъ, разсвирѣпѣвъ, бьетъ по сукману и разбиваетъ свои собственные горшки. Этотъ элементъ обмана, проказливости и издѣвательства надъ простаками составляетъ существен-

[1]) Ib., гл. IV, стр. 279—280. Мы знаемъ, что послѣдняя картина любима и въ малорусскихъ интермедіяхъ, хотя жертвой подобнаго глумленія мы встрѣчаемъ обыкновенно еврея и поляка. Только разъ такую роль играетъ и русскій мужикъ.

[2]) Ib., гл. IV, стр. 280.

[3]) Ib., гл. XI, стр. 357.

[4]) Ib., гл. XII, стр. 359—361, 362—364.

[5]) Ib., гл. XII, стр. 358.

[6]) Франко. Украінскій вертепъ. Зап. Наук. Тов. имени Шевченка, 1906 г., кн. IV, стр. 73.

ную часть и въ похожденіяхъ малорусскаго цыгана [1]). Випдакевичъ приводитъ три польскихъ интермедіи, напоминающихъ одну изъ вертепныхъ сценокъ съ цыганомъ. Въ нихъ выступаетъ лѣкарь (подъ именемъ Apoticarius, Alchemista, Doctor), обманывающій довѣрчивыхъ поселянъ. Алхимистъ вдобавокъ обкрадываетъ своего паціента [2]). Но собственно цыганъ появляется лишь въ польскомъ вертепѣ. Однако здѣсь онъ выступаетъ просто вожакомъ медвѣдя, показывающаго фокусы. Говоритъ онъ ломаннымъ русскимъ языкомъ, безъ примѣси своего родного нарѣчія. Національная характеристика его почти не разработана [3]). Только въ вертепѣ, изданномъ Франко, имѣемъ типъ цыгана со всѣми его важнѣйшими чертами. Вотъ какъ онъ самъ себя рекомендуетъ зрителямъ:

Mene y u Perdyczowi dobre znali,
Tam to mene kochali!
Użeb ia tut ne buw, iak by mene buły dohnały.
Prawda, myny y tut dobre bude.
Jak sia obyznaiut zo mnoiu dobryi lude.
Chto szczo maie, rayte do mene,
A wże win ne ponese ot mene.
Ia znaiu na wsi sztuki,
Uże win ne bude bacziti, jak zapopadu u swoy ruki.
Ia umyiu y worożyti,
Koli iest szto u rot ułożyti [4]).

Увидѣвъ больного литвина, онъ берется его вылѣчить, ворожитъ надъ нимъ и вмѣсто лѣченья бьетъ паціента палкою [5]). Тутъ цыганъ выступаетъ предъ нами плутомъ, воромъ, умѣющимъ ворожить и ловко дурачить. Онъ безпеченъ, веселъ, дерзокъ и буенъ [6]).

Въ слѣдующемъ явленіи цыганъ съ сыномъ, узнавъ подъ москалемъ свою кобылу, стаскиваютъ его съ лошади, бьютъ его и выталкиваютъ

---

[1]) Морозовъ. Исторія русск. театра, I, стр. 63—64.

[2]) St. Windakiewicz. Teatr ludowy w dawnej Polsce, Kraków, 1902, стр. 174—175.

[3]) Wisła, X, 480.

[4]) Франко, op. cit., стр. 41.

[5]) Ib., 42—43.

[6]) Ib., 41—43.

со сцены [1]). При этомъ у нихъ прорывается и автохарактеристика: „A ty u Polszczu ne chody y cihanskich norowyw ne bery, a naszoy kobyłki ne krady!“ [2])

Итакъ, и здѣсь конокрадство—цыганскій обычай, и здѣсь цыганы—люди смѣлые и буйные.

Съ этими чертами появляются представители этого племени и въ малорусскомъ старомъ театрѣ. Такъ въ первой интерлюдіи къ „Комическому дѣйству“ Довгалевскаго цыганъ—торговецъ лошадьми, веселый малый, издѣвающійся надъ шляхтичемъ-астропомомъ. Онъ допрашиваетъ поляка, какой масти будетъ жеребенокъ отъ его кобылы, которая „три роки жеребна, да ще не родила лошати“, а затѣмъ принимаетъ участіе въ избіеніи его. Во второй интермедіи цыганка ворожитъ мужику, обманываетъ его при этомъ и крадетъ у него хустку. Ее ловятъ и хотятъ отдать войту, но является ея мужъ, осыпаетъ руганью мужиковъ и освобождаетъ жену. Тутъ цыгане—ворожеи, плуты, воры, но люди смѣлые и энергичные. Въ пятой интермедіи мы находимъ сцену въ родѣ той, которая разыгривается въ вертепѣ Фрапка между москалемъ и цыганами. Еврей, у котораго украли кобылу, оплакиваетъ ее и покупаетъ другую у волоха [3]), при чемъ жалуется на вороватость цыганъ:

„Сцобъ цигане взе ей не доздали браты.
Якъ ту кобилу сами з рукъ ухватилы
І до свого сагра очевисне всадили“ [4])

Но цыганъ легокъ на поминѣ:

А хто тутъ бачу мене зневажае
І злодѣемъ великимъ мене називае
А в мене самого кобила пропала.
Колибъ где познати то бъ и родина его намятала.
Ха ха! Але бачу и жиди вже конѣ волочатъ,
Тилко бѣдних цыганъ злодѣйствомъ порочатъ
Ось якъ і сей жидъ власную кобилу у мене вкравъ“ [5]).

[1]) Ib., 43–45.
[2]) Ib., 44.
[3]) Кіевск. стар., 1897 г., X, 100—103.
[4]) Ib., 103.
[5]) Ib., 103.

Плутъ заявляетъ, что лошадь его:

„А се жъ моя кобила я здамся не люде,
Коли въ неи пятна под хвостомъ не буде“.

Еврей резонно заявляетъ:

„Такъ сцо хоць пятно есть? Ти ходи до пана.
То мозе ти избудесъ от того зупана“.

Цыганъ свирѣпѣетъ:

„А твое око коле на цыганскіе жупани...
Озмы, хлопче, кобилу до шатра поведи
А я старому собацѣ урѣжу бороди
Або запряжу іого въ хомут скурвого спина,
Щоб памятала до смерти іого дитина...
А тепер придатку дамъ сергѣемъ по плечах,
А ти, собачій сину, щоб знався на речах“ [1]).

Мы видимъ и здѣсъ цыганъ является плутомъ, конокрадомъ, насильникомъ и грабителемъ, но смѣлымъ, буйнымъ и ловкимъ.

Во второй интермедіи ко Властотворному образу цыганъ также встрѣчается съ евреемъ. Входя онъ хвалится своимъ умѣньемъ присваивать себѣ чужую собственность:

„Якъ попишу симъ церомъ на клячинѣ паси,
То тутъ и ест порося, сало и ковбасы“.

Затѣмъ онъ для глумленія заводитъ съ евреемъ разговоръ о колбасахъ и свининѣ, бьетъ его и прогоняетъ со сцены [2]).

Въ третьей интермедіи къ „Воскресенью мертвыхъ“ Конисскаго, 1746 г., разрабатывается мотивъ голоднаго существованія цыгана и его семьи.

Является изголодавшійся цыганъ:

Охъ, исти, исти хочу, панове ратуйте,
Хотя саломъ смажне губи пошмаруйте! —

[1]) Ib., 103—104.
[2]) Ib., 109.

Бачиться, якъ би покушавъ тоей звѣрини,
Оздоровѣвъ би совсѣмъ, тоецъ години...
Охъ исти, прабугъ пети! безмалъ не звалюся;
Бо такъ охлявъ, що ледво на ногахъ держуся...
Бѣда безъ жюнки!... Вжебъ вона что нибудь мене поратовала,
Виворожила б десь минѣ хоть кусочокъ сала“ [1])

Но и цыганка его въ такомъ же положеніи:

„О, Маре муй, Маре! Чи боишся ти Бога?
Ти тутъ и пси и піешь, я з голоду мру небога“.

На просьбу мужа достать сала она насмѣшливо отвѣчаетъ:

Ой, ласъ ти, ласъ на сало, а я на ковбаси,
И циганчата наши на теж велми ласи;

Да где ихъ узяти?... я достала для тебе два хращѣ зъ осетра.

Навару тобѣ борщю, испеку комара
И накормлю тебе мого милого господара“ [2]).

Такъ какъ мужъ отъ такой „стравы“ отказывается, она уговариваетъ его лечь спать, обѣщая поворожить такъ,

„що сонъ его буде годовати“.

Цыганъ ложится спать, видитъ во снѣ сало и колбасы, но это еще сильнѣе растравляетъ его голодъ [3]). Тогда жена рѣшаетъ его накормить „То-то борщъ ситій, то-то страва люба! Возми лишь да покушай, ажъ злипается губа“, рекомендуетъ она свою стряпню. Однако цыганъ недоволенъ: „Сежъ твуй борщь похюжъ на ракову юшку“. Цыганка защищается: „То-то для смаку кидала сиитку и петрушку“. Затѣмъ она предлагаетъ ему „пошмаровать кости“, опутываетъ его сѣтью и бьетъ, приговаривая: „Оттакъ тебе, лежню, коли нехочь робити! Працюй, коли бажаешъ смачно исти й пити! ха, ха, ха! якъ я тебе убрала старого! лежи, лежню, я собѣ знайду молодого“. Ко-

[1]) Древняя и новая Россія, 1878 г., т. III, стр. 253.
[2]) Ib., 253.
[3]) ib., 253.

нечно, цыганъ въ концѣ концовъ освобождается отъ путъ и въ свою очередь колотитъ вѣроломную жену [1]). Такимъ образомъ и здѣсь, кромѣ лѣности, бѣдности и постояннаго голоданья, мы замѣчаемъ у цыганъ остроуміе, изобрѣтательность и смѣлость.

Въ „Интерлюдіяхъ на Рождество Христово“, переписанныхъ въ 1771 г. дьякомъ Иваномъ Даниловичемъ, цыганъ, увидѣвъ спящаго мужика, тотчасъ принимается бранить и бить его:

А то стара собака лежачи прѣе!..
Ось я тебе нагрію,
Як сам умію!
Ковендара на три лѣса!
На другій бѣкъ оберни ся!

Въ другой сценѣ цыганъ берется лѣчить литвина и поступаетъ съ нимъ, какъ и въ вертепѣ Франка.

Но самая яркая характеристика цыгана, безспорно, дана въ „Preludium secundum“ Тихоправова [2]):

Чхабей! Чхабей! Чхабей! Ха-ха!
Се жь и я, панове до вас завѣтав!
Ходивъ-бродивъ, а тутъ таки на начлегъ застав.
Бидна моя головонка! Якая то моя хорошая урода!
Якъ то мнѣ было отъ Ющенка пановаиіе и выгода!
Якъ же то було насъ и не шановати?
Наше то дѣло дѣти: замки ковати,
Людей ошуковати!.
Та и жаданчата мои не послѣднее ремесло маютъ:
Бо куры красти, дѣтей манити, добрѣ же узнаютъ,
А якъ бы солонину аль бо поросятину хоть бы подъ небесамъ знали,
И выттуль бы якъ колвекъ ужъ обкрасти себе догадали.
А коли поворожить о щастіи и приходѣ—то нехай пойдетъ до моей Слохи.
Обголитъ его добрѣ, хочь не поможетъ ни крохи.
Бачится, и заданчата и Солоха и я доброе маемъ ремесло.

[1]) ib. 253—254.
[2]) Лѣтописи русской литературы, кн. 3, отд. II, стр. 38.

Но побачили бъ вы и сами, панове! толко не добрѣ их занесло.
Сподѣваюся, что за промыслом всіи разошлися,
А чѣмъ бы на сало, альбо на калбасу чи не здобылися:
Бо ужь бѣдные жаданчата третій день не ѣли,
Трохи, з голоду совсѣмъ не отлѣли.
Я бы и самъ натрепался хоть собачины,
Коли не ма поросятины альбо солонины“.

Съ тѣми же чертами появляется цыганъ и въ малорусскомъ вертепѣ. Онъ выѣзжаетъ верхомъ на клячѣ, которую онъ бойко и шутливо выхваляетъ:

Криця не лошиця!
Кремінь не кобыла!
Якъ біжить, ажъ дрожить!
Якъ впаде, то й лежить!

„Хочъ ребра въ еі й дуже видно“, но „коли вона жива буде“, хвалится онъ, „боятимуться ii люде“, бо „то кобыла суча брикуча!“ [1]).

Далѣе цыганенокъ приглашаетъ отца „вечерять“, но такъ какъ „мати нічого не варила“, а хлѣба тоже нѣтъ, то цыганъ отвѣчаетъ: „Такъ дарма! Вечеряйте собі на здоровье, а я зъ добрыми людьми погомоню“ [2])! Тутъ отмѣчается бѣдность и остроуміе цыганъ.

Затѣмъ происходитъ сцена, очень напоминающая изображеніе цыганской семьи у Конисскаго. Является цыганка и сообщаетъ мужу, что собака съѣла поросенка и „паску“ и вынюхала перецъ изъ щей. По этому поводу происходитъ супружеское недоразумѣніе. Наконецъ жена приноситъ мужу „борщику въ полпвянімъ горщику“, но онъ оказывается „похожій на ракову юшку“. Цыганка отвѣчаетъ: „Кидала, мій миленькій, цибулю й петрушку,

А ще для свого господаря
Кусокъ сала изъ комаря!

Послѣ этого оба весело пляшутъ и поютъ веселую пѣсенку [3]).

[1]) Маркевичъ, явл. 4, стр. 46—47. Галаганъ, стр. 18.
[2]) Маркевичъ, явл. 5, стр. 47. Галаганъ, стр. 19.
[3]) Маркевичъ, явл. 6, стр. 48—49. Галаганъ, стр. 19—20.

Въ сценахъ съ козакомъ цыганка является лечить его заговорами. При этомъ она сперва обманываетъ его, читая заговоръ навыворотъ. Когда же запорожецъ, несмотря на это, выздоравливаетъ, цыганка нахально и назойливо требуетъ отъ него вознагражденія, но добивается только побоевъ [1]). Наконецъ, цыганъ появляется еще разъ, чтобы сдѣлать попытку выпросить у скуповатаго мужичка Клима свинью, обѣщая научить ее „халяндры танцеваты“. Эта перспектива нисколько, впрочемъ, не соблазнила Клима [2]).

Съ тѣми же чертами буйства, удали, предпріимчивости и плутоватости, является цыганъ и въ произведеніяхъ Гоголя. Вспомнимъ въ „Сорочинской ярмаркѣ“ описаніе того цыгана, къ которому обратился Грыцько съ просьбой устроить его свадьбу съ Параской: „Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вмѣстѣ высокомѣрное. Человѣкъ, взглянувшій на него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душѣ кипятъ достоинства великія, но которымъ одна только награда есть на землѣ — висѣлица. Совершенно провалившійся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вѣчно осѣненный язвительной улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпрестанно мѣняющіяся на лицѣ молніи предпріятій и умысловъ“ довершали его наружность [3]). Цыганъ оправдываетъ эту характеристику. Вмѣстѣ со своими товарищами онъ распространяетъ слухъ о появленіи красной свитки, запугиваетъ Солопія Черевика и всю его компанію, искуснымъ маневромъ крадетъ у него кобылу, подмѣняя ее краснымъ лоскутомъ, выдаетъ за вора и вяжетъ самого Черевика и ставитъ его въ такое положеніе, что онъ соглашается выдать свою дочь за Голопупенка. Цыгане же справляются и съ Хиврей, когда та пытается помѣшать этому браку. Такимъ образомъ они себя выказываютъ смѣлыми, ловкими, находчивыми, остроумными людьми, но, безъ всякого сомнѣнія, плутами, затѣи которыхъ стоятъ на границѣ между дерзкой шуткой и преступленіемъ. Все это близко напоминаетъ традиціонный въ малорусской драмѣ типъ цыгана, хотя нельзя не признать, что ему придано больше романтической силы, мрачности, почти демонизма.

---

[1]) Галаганъ, стр. 28; Маркевичъ, явл. 13, стр. 52—53.
[2]) Галаганъ, стр. 35; Маркевичъ, явл. 23, ст. 61.
[3]) Соч. Гоголя, т. I, стр. 19.

Кромѣ типовъ національныхъ, малорусскія интерлюдіи знали и бытовые типы, такъ же попавшіе и въ повѣсти Гоголя. Начнемъ съ дьяка. Его генезисъ даетъ прекрасная работа Дашкевича: „Вопросъ о литературномъ источникѣ украинской оперы Котляревскаго «Москаль-Чаривникъ»“ [1]). Главныя черты этого типа встрѣчаются уже въ Алешѣ Поповичѣ. У него глаза завидющіе, руки загребущія. Онъ бабій пересмѣшникъ, дѣвичій перелестникъ. Онъ мастеръ и красно говорить. Правда малороссы позабыли древнія былины, но какъ разъ пѣсни объ Алешѣ Поповичѣ оказались болѣе живучими. Проф. Дашкевичъ указываетъ далѣе многочисленные первообразы нашего дьяка въ западныхъ фабльо и шванкахъ, осмѣивающихъ духовенство. Такъ въ разсказѣ Le pauvre Clerc, XIII в., разсказывается о волокитствѣ священника за женою крестьянина и о роскошномъ пиршествѣ, устроенномъ ею для своего возлюбленнаго, впрочемъ разстроенномъ несвоевременнымъ возвращеніемъ мужа [2]). Тутъ уже имѣемъ главныя черты похожденій Осипа Никифоровича въ „Ночи подъ Рождество“ и Аоанасія Ивановича изъ „Сорочинской ярмарки“ [3]). Изъ западной Европы типъ клерика-волокиты перекочевалъ и въ польскій театръ іезуитовъ. Въ Мясопустной комедіи XVII в. является студентъ, ухаживающій за кухаркой ксендза [4]). Собственно говоря, старый малорусскій театръ и вертепъ этого мотива не знаетъ. Наиболѣе живая и полная характеристика нашихъ мандрованныхъ дьяковъ находится въ четвертой интерлюдіи къ „Властотворному Образу“ Довгалевскаго. Это братія, вѣчно бродящая въ поискахъ скуднаго заработка, ищущая причислиться къ клиру какой-либо церкви, занять должность въ школѣ, не брезгующая заработкомъ отъ представленій и ремесла. У нихъ нѣтъ ни приличной одежи, ни куска хлѣба. Такъ одинъ пиворѣзъ мечтаетъ

„Где бъ то, вашецѣ проше, мѣсце пропскати:
Живиы без кондиціи, потяжко на шаты,..
Пріодягшис мало, поишол би въ Березну,
Но для совѣта гряду ко другу любезну

[1]) Кіевск. Старина, 1893, XII.

[2]) ib., 452—454.

[3]) О другихъ представителяхъ западной разновидности этого типа см. ib., 455—462.

[4]) Морозовъ. op. cit., стр. 57—59.

Іже въ Претиской школѣ крилоса правитель.
Лѣвого горѣлицы и бражкы любитель“ [1]).

Онъ „блощичного роду“, „хлѣба“ у него „нѣ куса“. „Потрясши кучерами да спати лѣгаемъ“, сообщаетъ онъ о своемъ житьѣ-бытьѣ. Положеніе его товарища не лучше. Вотъ что онъ говоритъ:

„Веліе бяше число у насъ горѣлицѣ,
Полни чванцы текущы з подтрубной криницы
І всего слава Богу бяше подостатку,
Що у людей, то и в насъ всякого статку.
Да и тепер богати маемъ воли и телицы,
Іже купно мандруют по стѣнѣ к трубницѣ“ [2]).

Тѣмъ не менѣе наши пиворѣзы не унываютъ. Они мечтаютъ о будущихъ выпивкахъ, подсмѣиваются и острятъ надъ своимъ положеніемъ [3]), устраиваютъ рискованныя проказы и продѣлки, даже безъ всякихъ корыстныхъ побужденій изъ одной жизнерадостности и проказливости. Такъ одинъ изъ нихъ боится итти въ Березну: „бо построивъ штукы, такъ щобъ не попастися прото(по)нѣ въ рукы“ [4]). Въ самой интерлюдіи они, поднявъ на смѣхъ мужика, вооружаютъ противъ себя его пріятелей, такъ что имъ приходится спасаться черезъ заборъ съ причитываньями: „Забіваютъ нищету нашу, и печал нашу; обіидоша мя псы мнозы; жезлъ твой и палица твоя та мя утѣшиста; о Бозѣ моемъ прелѣзу стѣну; сонмъ лукавих обдержаша мя“ [5]). Такимъ образомъ велерѣчіе не покидаетъ молодыхъ питомцевъ мудрости даже въ самые затруднительные моменты ихъ жизни [6]). (Съ тѣми же чертами

[1]) Кіев. стар., 1897, X, 112.
[2]) ib., XI, стр. 113.
[3]) ib., стр. 113.
[4]) ib., стр. 114.
[5]) ib. 114—115.
[6]) Совсѣмъ особо стоитъ идеальный образъ дьяка-мученика, убитаго ляхомъ, который намъ даетъ Конисскій въ четвертой интерлюдіи къ Воскресенью мертвыхъ.

Добрій и цѣхій, всѣхъ людей шануецъ
И церкви светой всіогды дзіень и ночь нѣлнуицъ:
Нѣ гарелки, нѣ бражки пяной а не міоду,
Нѣчого хмельного ніе пецъ, апрочь воду;
А што салавей у Церквѣ людзіомъ спѣваецъ,
И дзѣціей харашенко въ школѣ обучаецъ“ [7]).

[7]) Древняя и новая Россія, 1878, т. III, стр. 254.

видимъ мы дьяка и въ малорусскомъ вертепѣ. Постоянно голодное существованіе заставляетъ его приходить въ восторгъ отъ подарка даже такой свиньи, которая „давно уже хотіла издыхать“ [1]). „Спіши сюди зіло“, восторженно зоветъ онъ своего помощника „Климій сотворивъ намъ честь, давъ свиняче тіло!“ [2]) Эта „Свиня хочъ куда свиня, ребра такъ и світяться“ [3]). Къ тому же она дана вмѣсто платы за трудъ обученія Климова сына [4]). Тѣмъ не менѣе дьякъ считаетъ себя обязаннымъ произнести въ честь благотворителя ученую и высокопарную рѣчь:

Гевалъ, Амонъ и Амалыкъ
И вси живущы въ Тыри. .
Возрадуются доброти,
И воспоютъ въ эфири...
Мы вашу обреченну жертву,
Хоть живу, хотя мертву,
Съ благодарностью пріемлемъ,
И выю вамъ объемлемъ [5]).

Такимъ образомъ, и здѣсь основныя черты дьяка бѣдность, жадность на подачки, мнимая ученость и велерѣчіе. Кое-какими изъ свойствъ малорусскаго пиворѣза воспользовался, повидимому, и Гоголь-отецъ для своего дьяка въ комедіи „Простакъ“, но въ общемъ онъ болѣе примыкаетъ къ своимъ западнымъ прототипамъ. Прежде всего онъ неуклюжій селадонъ и волокита. Даже заползая подъ привалокъ, онъ мечтаетъ: „Ахъ, Боже мой! якъ препзрядно, если бы и вы, Параскева Пантелемоновна, здѣсь со мною обиталп“ [6]). Этихъ качествъ въ украинскомъ дьякѣ не отмѣтили ни Довгалевскій, ни вертепъ. Зато онъ любитель поѣсть и попить и извѣстіе Параски: „Я для васъ вареної наварила и курочку спекла“ принимаетъ съ удовольствіемъ: „Всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ“ [7]). Въ этомъ онъ походитъ и на своихъ западныхъ прообразовъ и на мѣстныхъ

[1]) Маркевичъ, явл. 22, стр. 61, стр. Галаганъ, стр. 34.
[2]) Маркевичъ, явл. 25—26 стр. 62. Галаганъ, стр. 35.
[3]) Галаганъ, 36; Маркевичъ, явл. 28, стр. 63.
[4]) Маркевичъ, явл. 28, 29, 62—63; Галаганъ, стр. 36.
[5]) Маркевичъ, явл. 27, стр. 62; Галаганъ, стр. 36, представляетъ нѣсколько иной варіантъ.
[6]) Основа, 1862 г., февр., „Простакъ“, стр. 31.
[7]) ib., стр. 30.

пиворѣзовъ и „кондяковъ“. Но его туманное велерѣчіе духовнаго стиля совершенно напоминаетъ послѣднихъ и рѣзко его отличаетъ отъ Фнитика изъ оперы Котляревскаго: „Москаль чарівникъ“. Параска его часто даже вовсе не понимаетъ [1]).

Всѣмъ, конечно, хорошо памятны знаменитыя сцены ухаживанья Аѳанасія Ивановича за „Хавроньей Никифоровной“ [2]) и Осипа Никифоровича за „дражайшей Солохой“ [3]). Онѣ очень напоминаютъ другъ друга общей ситуаціей, характеромъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ рѣчами, а вмѣстѣ обѣ восходятъ къ соотвѣтствующей сценѣ въ „Простакѣ“ Гоголя-отца. Слѣдовательно, все, что сказано объ отношеніи дьяка въ этой комедіи къ малорусской сценической традиціи, относится и къ типамъ Гоголя-сына. Ближе къ старымъ пиворѣзамъ и мандрованнымъ дьякамъ подходятъ бурсаки Гоголя въ повѣсти „Вій“. И они наклонны къ праздному велерѣчію, хотя и не такому витіеватому, какъ ухаживатели Солохи и Хиври. Припомнимъ хоть бесѣду философа Хомы Брута съ присланнымъ за нимъ панскимъ возницей [4]). Какъ вертепный кондякъ своей орацiей растрогалъ до слезъ своего благодѣтеля Клима, такъ и бурсаки Гоголя вызываютъ слезы на глазахъ простодушныхъ крестьянъ пѣніемъ своихъ кантычекъ: „Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: „Жинко! то, что поютъ школяры, должно быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть“. И цѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; порядочный кусъ сала, нѣсколько паляницъ, а иногда и связанная курица помѣщались вмѣстѣ“ [5]). И тутъ, какъ въ вертепѣ, эффектъ достигается главнымъ образомъ непонятностью содержанія.

Бурсаки Гоголя—народъ голодный, непмовѣрно жадный, пьющій, буйный, плутоватый и вороватый. „Весь этотъ ученый народъ... былъ чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерею галушекъ, было бы совершенно невозможное

[1]) ib., стр. 28—31.
[2]) Сорочинская ярмарка, гл. VI. Соч. Гоголя, т. I, стр. 20—22.
[3]) Ночь подъ Рождество. Соч. Гоголя, т. I, стр. 116.
[4]) Вій. Соч., т. I, стр., 379.
[5]) Вій. Соч., т. I, стр. 370.

дѣло“ [1]). „Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ“ [2]). Дѣйствительно, и нашъ философъ Хома Брутъ не упускаетъ никогда удобнаго случая выпить [3]). Старшіе изъ бурсаковъ по возможности ничего не покупали, а всегда „любили брать только на пробу, и притомъ цѣлой горстью“ [4]). Въ случаѣ нужды въ пищѣ устраивались на чужіе огороды настоящія экспедиціи [5]). Повидимому, среди этой публики не одинъ Халява „имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, непремѣнно украдетъ“ [6]). У Гоголя бурсаки любители и поволочиться, но и тутъ ихъ самоувѣренность и удальство ничуть не напоминаютъ неловкости и нерѣшительности, обнаруживаемыхъ дьякомъ въ „Простакѣ“ и его отраженіями въ повѣстяхъ „Вечеровъ на хуторѣ близь Диканьки“. Достаточно указать на размышленія и разговоръ Хомы съ явившейся къ нему въ сарай вѣдьмой и на его отношенія къ молодой вдовѣ въ желтомъ очипкѣ, сердце которой онъ такъ быстро и рѣшительно покоряетъ [7]).

Но въ изображеніи бурсаковъ Гоголь, безъ сомнѣнія, ближе всего примыкаетъ къ Нарѣжному. Только сцена съ растроганными школярами мужикомъ можетъ быть непосредственно возведена къ вертепу.

Встрѣчаемъ у Гоголя и типъ злой бабы. Вспомнимъ Хиврю изъ „Сорочинской ярмарки“. Уже наружность ея говоритъ много. „По ея красному, полному лицу“ „проскальзывало что-то столь непріятное, столь дикое“ [8]), что мѣткое замѣчаніе встрѣчнаго парубка: „А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ!“ вызвало дружный хохотъ толпы. Ругается она мастерски. Едва парень успѣлъ задѣть ее, какъ „красныя щеки ея

[1]) ib., стр. 369.

[2]) ib , стр. 367.

[3]) Вій. Сцены въ корчмѣ и приготовленія къ чтенію надъ вѣдьмой, ib. стр. 380—381, 392, 398.

[4]) ib., стр. 368.

[5]) ib., стр. 369.

[6]) ib., стр. 370—371; ср. и сцену кражи карася у вѣдьмы, стр. 374.

[7]) ib., стр. 374—375, 377—378. Впрочемъ сцена пиршества съ вдовушкой напоминаетъ такія же картинки изъ „Простака“ и „Сорочинской ярмарки“.

[8]) ib., стр. 11.

превратились въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ на голову разгульнаго парубка: „Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чортъ бороду обжегъ!... Нечестивецъ! Поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь. И отецъ дрянь! и тетка дрянь“ [1])!..

Затѣмъ „месть ея обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранялъ упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя рѣчи разгнѣванной супруги. Однакожъ, несмотря на это, неугомонный языкъ ея трещалъ и болтался во рту до тѣхъ поръ, пока не пріѣхали они въ пригородье, къ старому знакомому и куму, козаку Цыбулѣ“ [2]).

Не менѣе скора она и на руку и, повидимому, нерѣдко поколачиваетъ своего неповоротливаго Солопія Черевика. Когда онъ сообщаетъ женѣ, что нашелъ жениха своей дочери, Хивря, недовольная этимъ планомъ, протестуетъ, но не находитъ на этотъ разъ въ мужѣ желанной покорности: „Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить? А что это значитъ? Когда это бывало съ тобою? изумляется она: Вѣрно, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего“?

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мгновенье голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями“. Ему дѣйствительно вскорѣ пришлось „уклоняться отъ сильно наступавшей супруги“ [3]). Такими мѣрами Хивря держитъ своего Солопія Черевика „въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ вожжи своей старой кобылы“ [4]). Только разъ въ повѣсти онъ безстрашно отнесся къ своей сожительницѣ—когда „пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея руками“ [5]).

Въ довершеніе бѣдствій Черевика жена его еще и измѣняетъ ему съ долговязымъ и трусливымъ поповичемъ, для котораго у ней

---

[1]) ib., стр. 12.
[2]) ib., стр. 12—13.
[3]) ib., стр. 18.
[4]) ib., стр. 11.
[5]) ib., стр. 35.

находятся и варенички, галушечки, пампушечки, и поцѣлуи, и доморощенное кокетство, и непритворная ласковость.

Свое начало этотъ типъ ведетъ еще изъ византійской литературы о злыхъ женахъ, проникшей и въ древнюю Русь. Попалъ онъ и на сцену польскаго театра. Въ мясопустной комедіи начала XVI вѣка мы встрѣчаемъ его въ свирѣпой кухаркѣ ксендза.

Усвоенъ онъ былъ и польскимъ вертепомъ, гдѣ баба Малиновска гоняется за чортомъ съ кочергою, бьетъ его, пока тотъ не убѣгаетъ въ паническомъ страхѣ. Эта картинка, если не по мотивамъ дѣйствій участвующихъ лицъ, то по положенію ихъ напоминаетъ нѣсколько сценку, когда Салопій Черевикъ, напяливъ на голову вмѣсто шапки горшокъ, летитъ по улицамъ мирнаго мѣстечка съ криками ужаса: „Чортъ! Чортъ!“, а за нимъ несется его грузная половина.

Ближе къ Хиврѣ хитрая жена бѣлорусской бетлейки, которая обманываетъ своего мужа, иногда терпитъ за это побои, но обычно не только остается правой, но еще и сама колотитъ его за пьянство въ корчмѣ [1]). Тутъ всѣ элементы отношеній Хиври къ своему Салопію Черевику.

Грозны подруги жизни и въ серьезной малорусской драмѣ: Въ „Комедіи уніатовъ съ православными“ представители духовенства обѣихъ религій, оказывается, живутъ въ страхѣ Божіемъ у своихъ сожительницъ. Уніатъ заявляетъ: „Еслибъ я запустилъ бороду и явился къ моей Касѣ, ручаюсь, что она коцюбою прогнала бы меня прочь не только со двора, но даже изъ села“ [2]). Картинка вызываетъ въ памяти расправу бабы Малиновской съ чортомъ. Супруга православнаго священника въ гнѣвѣ тоже такъ ругается, что ей нельзя попадаться на глаза. Черта эта напоминаетъ таланты Гоголевской Хавроньи Никифоровны.

Родственные типы встрѣчаемъ въ цыганкѣ интерлюдій Конисскаго, которая бьетъ своего мужа за лѣность и отправляется искать себѣ другого помоложе [3]), и въ бабѣ изъ той же пьесы, колдующей надъ чужимъ житомъ. Она бойка на языкъ и ругаться мастерица. „Батечку, голубчику, щипочко мой любій, умоляетъ она москаля:

---

[1]) Перетцъ, op. cit., стр. 55.

[2]) Любопытно отмѣтить, что и въ шопкѣ иногда подруга Мазура носитъ имя Каси. Франко. Записки наукового товариства, 1906, V, стр. 24.

[3]) Древняя и новая Россія, 1878, III, стр. 254.

Не вѣрь симъ напастникамъ, отъ плюнь имъ у зуби!
Я лыхого не знаю чинить и не знала.
Гулко потребныхъ зюлокъ по полю шукала.
Атъ, плюнь, ти имъ въ очи! то вони тебѣ нащекали:
Где жита ростутъ, немашъ тамъ зѣлля другого“ [1]).

Но, конечно, болѣе всего сходства у Хиври съ Параской изъ пьесы Гоголя—отца: „Простакъ“. Параска также измѣняетъ своему мужу и тоже съ дьякомъ. Сцены свиданія съ нимъ въ обоихъ произведеніяхъ чрезвычайно схожи [2]). Параска также постоянно бранитъ мужа и держитъ его въ страхѣ Божіемъ [3]). На руку она тоже скора и на попытку москаля обнять ее отвѣчаетъ: „Геть, москалю! не жартуй! Оцего то вже я не люблю и—суча дочка—коли не трісну такъ, що й очі вилізуть! Отъ якъ хороше [4]). Обѣ женщины очень находчивы и дерзки. Хивря, когда дьякъ выдалъ себя какимъ то хрюканьемъ, сама накинулась на своихъ гостей съ упреками: „Эхъ вы, бабы! бабы! Вамъ ли козаковать и быть мужьями. Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи, (угрѣшился); подъ кѣмъ-нибудь скамейка заскрипѣла, а всѣ и метнулись, какъ полоумные“ [5])! Такого же способа дѣйствія съ тѣмъ же присутствіемъ духа придерживается и ея первообразъ, Параска. Когда выгнанный солдатомъ дьякъ убѣгаетъ въ видѣ чорта изъ хаты Романа, жена его обрушивается на мужа: „Якъ би ти не лежавъ зъ ранку до вечора, та робивъ такъ, якъ люде роблять, то бъ не було сёго нічого; а то поти лежавъ, поки вилупивъ чорта. Я тобі скілько казала: Эй, Романе, не лінуйся. Ліность до добра ніколи не приводить“ [6]).

Такимъ образомъ типъ злой бабы попалъ въ повѣсти Гоголя не непосредственно изъ стараго малорусскаго театра или вертепа, а преломившись въ комедіи его отца. Только сценка, когда Черевикъ бѣжитъ отъ своей супруги, думая, что за нимъ гонится чортъ, быть можетъ, есть реминисценція вертепной злой бабы.

---

[1]) ib., 252.
[2]) Основа, 1862 г., II, стр. 28—31, 36—37, 42—43.
[3]) ib., 24—25.
[4]) ib., 35
[5]) Сорочинская ярмарка, гл. VII.
[6]) Основа, ibidem., стр. 43.

Рядомъ съ злой бабой необходимо поставить и типъ простака, служащаго обычно ея жертвой. Такимъ простакомъ въ „Сорочинской ярмаркѣ“ является знакомый уже намъ Солопій Черевикъ. Не говорю уже о томъ, что онъ послушно ходитъ на вожжахъ у своей жены, не замѣчаетъ ея продѣлокъ, покорно выслушиваетъ ругательства и принимаетъ побои, не умѣя положить всему этому конецъ. Онъ крайне простъ и довѣрчивъ и въ отношеніяхъ къ другимъ людямъ. Такъ онъ тотчасъ же начинаетъ лобызаться съ парубкомъ въ бѣлой свиткѣ, какъ только тотъ назвалъ себя Голопупенковымъ сыномъ, идетъ съ нимъ въ шинокъ, приходитъ отъ него въ восторгъ только потому, что тотъ выдулъ, нимало не поморщившись, съ полквартыводки, и тутъ же соглашается выдать за него свою дочку [1]). Но болѣе всего сказались его простота и наивность въ приключеніи съ кобылой. Среди бѣла дня на ярмаркѣ онъ, заговорившись съ цыганомъ, допускаетъ, чтобы у него украли кобылу, которую онъ велъ за узду, и даже подмѣнили ее краснымъ лоскутомъ [2]). Послѣдній приводитъ его въ такой ужасъ, что онъ бросается со всѣхъ ногъ въ паническомъ страхѣ бѣжать и тѣмъ даетъ возможность шаловливой компаніи довести свою продѣлку до конца и, выдавъ его толпѣ ярмарочной публики за вора, изловить и связать его [3]).

Образъ простака, у котораго крадутъ кобылу изъ рукъ, подмѣняя ее лошадиной шкурой, мы встрѣтили уже въ „Communia Duchowna S.S. Borysa i Hleba“ іезуитскаго театра [4]). Простоватый мужикъ, которымъ помыкаетъ его жена, имѣется въ польскомъ вертепѣ. Онъ является къ цирюльнику съ просьбой побрить его. Его женѣ не нравится его сѣдина и онъ надѣется этимъ путемъ заслужить ея милость. Цирюльникъ, понявъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, начинаетъ издѣваться надъ мужикомъ: вымазываетъ ему лицо вмѣсто мыла чернилами, бреетъ его такъ, что изъ того чуть зубы не повылетали, и наконецъ для удобства бритья предлагаетъ ему лечь на лавку, послѣ чего бьетъ его [5]). Здѣсь намъ интересны лишь мотивы глупости мужика и его подчиненности капризамъ жены.

---

[1]) Сорочинская ярмарка, гл. III и IV. Соч. Гоголя, т. I, стр. 16—18.

[2]) ib., гл. X, стр. 29—30.

[3]) ib., гл. XI, стр. 30—31.

[4]) Выше указаны и другіе случаи кражи кобылы у простаковъ разной національности.

[5]) Перетцъ, стр. 50—51.

Мужикъ бѣлорусскаго вертепа, обманываемый своей женою и терпящій отъ нея побои за пьянство, уже близко родственепъ герою повѣсти Гоголя [1]).

Малорусская драма неоднократно пользуется для своихъ интерлюдій типомъ простака, становящагося жертвою разныхъ плутовскихъ продѣлокъ. Такъ во второй интерлюдіи къ „Комическому дѣйствію". Довгалевскаго мужикъ, которому приснился удивительный сонъ, желаетъ его истолкованія. Съ этой цѣлью онъ обращается къ бабѣ Настѣ. Подслушавшая ихъ разговоръ цыганка дѣлаетъ видъ, что она чудеснымъ образомъ угадала содержаніе его сна, обѣщаетъ дать и его разгадку, а между разговоромъ искусно крадетъ у мужика изъ-за пазухи хустыну [2]). Въ четвертой интерлюдіи изъ „Властотворнаго образа" пиворѣзы такъ размалевываютъ какого то простоватаго мужичка, что не оставили на немъ образа человѣческаго, такъ что за осмѣяннаго вступились уже его сосѣди. Въ третьей интерлюдіи къ той же пьесѣ ярыги обкрадываютъ мальчика, которому отецъ поручилъ стеречь свой возъ и добро. Одни изъ нихъ дѣлаютъ видъ, что хотятъ снять рога у воловъ и тѣмъ отвлекаютъ вниманіе мальчика отъ другихъ, которые тѣмъ временемъ тащутъ съ воза мѣха [3]). Тутъ встрѣчаемъ мотивъ отвлеченія вниманія, который примѣняютъ и цыгане къ Черевику.

Повидимому, Гоголь, кромѣ мотива кражи кобылы съ подмѣною ея, ничего самъ не взялъ изъ стариннаго театра. Должно быть, онъ уже воспользовался той обработкою типа простака, которую нашелъ въ комедіяхъ своего отца: „Собака—вівця" и „Простакъ". Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что оттуда же онъ взялъ жену Солопія Черевика и ея любовника.

Особенно напоминаетъ героя „Сорочинской ярмарки" Романъ изъ „Простака". Онъ такъ же лѣнивъ, какъ и Черевикъ. Его женѣ такъ же приходится выгонять его на работу [4]), какъ дѣлаетъ это и Хивря [5]). Онъ еще глупѣе того. Жена отправляетъ его на охоту съ кабанцомъ вмѣсто охотничьей собаки, а потомъ увѣряетъ его, будто

[1]) ib., стр. 55.
[2]) Кіевская старина, 1897 г., IX.
[3]) ib., X, стр. 111.
[4]) Основа, стр. 24, 24—26.
[5]) Сорочинская ярмарка, гл. X. Соч. Гоголя, т. I, стр. 28—29.

порося поймало и принесло домой зайца [1]). Романова жена также ловко измѣняетъ ему и тоже съ дьякомъ [2]). Солдатъ дурачитъ его своей выдумкой про чорта [3]), какъ дѣлаютъ это и цыгане съ Черевикомъ. Выдумка въ обоихъ случаяхъ удается, такъ какъ Романъ также суевѣренъ [4]), какъ и Солопій. Онъ трусливъ и легко теряетъ присутствіе духа. При мысли увидѣть чорта у него начинаетъ отъ страха болѣть животъ и онъ просится у солдата на дворъ [5]). Онъ умственно ниже своей жены и въ затруднительныхъ случаяхъ обращается къ ея памяти и уму [6]). Какъ и Черевикъ, онъ терпѣливо выслушиваетъ брань своей жены [7]) и подчиняется ея понуканіямъ [8]).

Изъ разсмотрѣннаго нами матеріала видно, что многіе дѣйствующія лица юношескихъ повѣстей Гоголя напоминаютъ традиціонные типы стараго малорусскаго театра и вертепа. Иногда это сходство распространяется на ситуацію, приключенія, даже одежду его героевъ. Любопытно, что у Гоголя встрѣчаются почти исключительно тѣ мотивы, которые существуютъ не только въ старыхъ интерлюдіяхъ, но и въ вертепѣ. Кромѣ вертепныхъ реминисценцій, мы встрѣчаемъ у него аналогіи лишь съ „Милостью Божьей“ Ѳеофана Трофимовича и пьесами о сошествіи Христа во адъ. Можно было бы поэтому видѣть въ вертепныхъ представленіяхъ посредствующее звено между повѣстями нашего поэта и школьнымъ театромъ XVII—XVIII в. Однако такое рѣшеніе вопроса не можетъ насъ удовлетворить. Мы видѣли, какъ много комическихъ сценокъ польской и малорусской школьной драмы имѣютъ себѣ аналогію въ шопкѣ, бетлейкѣ и вертепѣ. Иногда совпаденія достигаютъ сходства въ словахъ, заключаются въ повтореніи тѣхъ же стиховъ и риѳмъ. (Я имѣю въ виду не однѣ только интерлюдіи Довгалевскаго и Конисскаго). Это явленіе можно объяснить различно. Во-первыхъ, можно говорить о вліяніи интерлюдій на вертепное дѣйство, но намъ трудно согласиться съ этимъ. Школьныя пьесы обыкновенно не издавались, постановка ихъ не повторялась,

[1]) [illegible], стр. 24—27, 37—3[illegible].
[2]) [illegible] стр. 2[illegible]—31, 36—37, 43.
[3]) [illegible]
[4]) [illegible] 41, 4[illegible]
[5]) [illegible] стр. 42
[6]) [illegible], 42
[7]) [illegible], стр. 2[illegible]—2[illegible], 4[illegible]
[8]) [illegible] 24, [illegible]—[illegible], [illegible]—27

распространеніемъ они, судя по малочисленности дошедшихъ до насъ рукописей, не пользовались, между тѣмъ для перехода въ народный театръ пьесѣ нужно пріобрѣсти сперва широкую популярность и вліяніе на умы. Къ тому же пришлось бы предположить, что составители вертепа годъ за годомъ слѣдили за драмой, преимущественно Кіевской, и усердно мозаичнымъ образомъ склеивали свою пьесу изъ наиболѣе интересныхъ интерлюдій, такъ какъ то, что мы находимъ въ нихъ порознь, сводится во едино въ народной пьесѣ. Добавимъ, что малорусскій вертепъ имѣетъ прямую и непосредственную связь съ шопкой и продолжаетъ, видоизмѣнивъ по своему, ея традиціонные типы и положенія. Предположить же, что и польская шопка уже отражаетъ на себѣ вліяніе кіевскаго театра еще труднѣе. Такимъ образомъ остается другое предположеніе. Уже къ XVII вѣку польская шопка достигла пышнаго расцвѣта, обогатившись рядомъ традиціонныхъ типовъ національнаго и бытового характера и устойчивыхъ комическихъ сценокъ. Частью они туда попали, можетъ быть, изъ искусственной польской литературы, но въ общемъ уже іезуитская драма черпала свои интерлюдіи изъ пьесъ народнаго творчества. Эти типы и ситуаціи вскорѣ перекочевали и на бѣлорусскую и малорусскую почву, а отсюда далѣе перешли и къ великоруссамъ. Тутъ они были приспособлены къ воззрѣніямъ и вкусамъ національностей, которыя усыновили ихъ: панъ пріобрѣлъ трусость, казакъ—геройскую храбрость, обманываемый цыганомъ москаль превратился въ еврея и т. д. Зерно этого вертепа было одно и то же, но частности мѣнялись. Вообще, судя по сохранившимся его остаткамъ, онъ отличался разнообразіемъ и богатствомъ юмористическихъ происшествій и сценокъ. Изъ этого то народнаго театра и черпали полной рукой матеріалъ для своихъ интерлюдій творцы школьныхъ пьесъ. Онѣ потому и не записывались, что не имѣли своихъ авторовъ и были продуктомъ устнаго, народнаго творчества. Потому онѣ и предоставлялись студентамъ, что тѣ были не столько составителями, сколько исполнителями традиціонныхъ сценокъ. Общностью источника объясняются и совпаденія піесъ другъ съ другомъ и съ вертепомъ. Такъ мы встрѣчаемъ комическое узнаваніе украденной кобылы въ „Communia Duchowna S.S Borysa i Hleba“ XVII в., въ интерлюдіяхъ Конисскаго 1736 г. и вертепѣ Франка 1790 г. Сходство доходитъ до совпаденія въ словахъ и риѳмахъ. Объяснять его слѣдуетъ тѣмъ, что сцена эта, традиціонная въ шопкѣ еще въ XVII в., перекочевала затѣмъ въ Украйну и оказалась источникомъ всѣхъ

трехъ записей ея, сдѣланныхъ въ разное время для разныхъ цѣлей. Изъ того же общаго ему съ южно-русской драмой XVII и XVIII в. источника, изъ вертепа, черпалъ и Гоголь. Этимъ и нужно объяснить совпаденія его съ интерлюдіями стараго малорусскаго театра.

Дополненія. Тотъ же костюмъ вертепнаго запорожца, т. е. красный жупанъ и широчайшіе синіе шаровары, мы, кромѣ вышеуказанныхъ случаевъ, встрѣчаемъ еще въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ. Такъ среди „Отрывковъ изъ начатыхъ повѣстей“ подъ цифрой IV находится сценка изъ жизни казачества прежнихъ временъ. Тутъ казакъ, стоящій передъ ставкой полковника, закидываетъ назадъ „алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ“, слѣдовательно одѣтъ въ красный кунтушъ [1]). На самомъ же полковникѣ „были широкіе, синіе съ серебромъ шаровары“ [2]). Въ черновыхъ наброскахъ къ „Ночи подъ Рождество“ въ этотъ костюмъ наряжается Вакула, идя представляться государынѣ. „Надѣвай же платье такое, какое и мы“, говоритъ ему одинъ изъ сѣчевиковъ: „будешь хоть на часъ запорожцемъ. А славно быть запорожцемъ? Правда, славно“? Кузнецъ не заставилъ дожидаться себя: надѣлъ наверхъ своихъ широкіе шаровары; наверхъ тулупа надѣлъ жупанъ и былъ готовъ“ [3]). На пріемѣ у Екатерины II—мы видимъ Вакулу „въ новомъ своемъ красномъ жупанѣ (съ . . .) чистымъ бѣлымъ воротникомъ своей рубашки“ [4]).

Впрочемъ ранніе наброски изъ жизни казачества, какъ указанный выше отрывокъ IV-ый и „Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти“, менѣе тѣсно примыкаютъ къ вертепному пониманію запорожца, чѣмъ Тарасъ Бульба и Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Они останавливаются почти исключительно на героической и патетической сторонѣ казачества, а образъ Остраницы не лишенъ и совершенно чуждой народному міровоззрѣнію сентиментальной чувствительности. Онъ болѣе рыцарь, какъ неоднократно называетъ его Гоголь, чѣмъ настоящій казакъ [5]). Эта же повѣсть даетъ намъ указаніе и на одинъ изъ источниковъ, въ которыхъ черпалъ Гоголь свои краски для изобра-

[1]) Соч. Н. В. Гоголя, изд. 11-ое, Спб., 1893 г. Ред. Тихонравова, т. I, стр. 109.
[2]) ib., стр. 109.
[3]) Соч. Гоголя, изд. 10-ое, Спб., 1889 г., т. I, стр. 550.
[4]) ib., стр. 545 и 548.
[5]) Соч. Гоголя, изд. 11-ое, т. I, стр. 78—103, 108—110.

женія казачества: „Надъ дверьми висѣла тоже небольшая картина масляными красками, изображающая беззаботнаго запорожца съ бочёнкомъ водки, съ надписью: *„Козакъ душа правдивая, сорочки не мае“*, которую и донынѣ можно иногда встрѣтить въ Малороссіи. Противъ дверей—нѣсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цвѣтами, а подъ ними на длинной деревянной доскѣ нарисованы сцены изъ Священнаго Писанія. Тутъ былъ Авраамъ, прицѣливающійся изъ пистолета въ Исаака; Святой Даміянъ, сидящій на колу, и другія подобныя“ [1]). Такимъ образомъ однимъ изъ источниковъ знакомства съ роднымъ прошлымъ для Гоголя являлась старинная малорусская иконографія реалистическаго пошиба и народная живопись, проникнутая духомъ и мотивами народной поэзіи. Любопытно, что эту самую пѣсню мы встрѣчаемъ въ устахъ казака въ вертепѣ Франка 1790 г. [2]).

Напротивъ, образы евреевъ, встрѣчающіеся въ этихъ отрывкахъ, близко родственны своимъ соплеменникамъ изъ Тараса Бульбы. Сценка во время пасхальной заутрени въ „Неоконченной повѣсти“ составляетъ необходимое дополненіе къ разсказу, привезенному въ Сѣчь бѣглецами изъ Украйны въ Тарасѣ Бульбѣ. „У самаго крыльца стояли нѣсколько жидовъ, содержавшіе, по волѣ польскаго правительства, откупъ, и спорили между собою, намѣчая мѣломъ пасхи, приносимыя для освященія христіанами. Нужно было видѣть, какъ на лицѣ каждаго выходившаго (изъ церкви) дрогнули скулы... Вдругъ страшный шумъ извнѣ заставилъ многихъ выйти [3])... Три жида отбирали у дряхлаго, посѣдѣвшаго, какъ лунь, козака пасху, яйца и барана, утверждая, что онъ не вносилъ за нихъ денегъ“ [4])... Тутъ появляется Остраница. Онъ „схватилъ его (еврея) могучею рукою за воротъ такъ, что бѣдный потомокъ Израилевъ съежился и присѣлъ на колѣни. „Ты чего хочешь, свиное ухо! Такъ тебѣ еще мало, что душа осталась въ галанцахъ? Ступай же, тебѣ говорю, поганая жидовина, пока не оборвалъ тебѣ пейсики. Послѣ того толкнулъ онъ его, и жидъ разстлался на землѣ, какъ лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бѣжать; спустя нѣсколько времени, возвратился съ

[1]) ib., стр. 95—96.

[2]) Записки Наукового товариства імени Шевченка, во Львовѣ. 1906. IV. стр. 36—37.

[3]) ib., стр. 79.

[4]) ib., стр. 80.

начальникомъ польскихъ уланъ“ [1]). Бѣдный еврей поплатился за свое корыстолюбіе и настойчивость жизнью: толпа кончила тѣмъ, что вздернула его на висѣлицу [2]).

Такимъ образомъ, и здѣсь предъ нашими глазами проходятъ сценки притѣсненія евреями народа, ихъ глумленія надъ народной религіей и вѣрой, картинки ихъ алчности и наглости, когда они чувствуютъ за своей спиной вооруженную силу, трусости и униженности передъ лицомъ народнаго возстанія и гнѣва.

Польскій шляхтичъ, выступающій въ той же повѣсти, изображенъ кичливымъ, надменнымъ угнетателемъ казачества, ругающимся надъ „проклятымъ гунствомъ“, какъ онъ называетъ малороссовъ, и его „холопской вярой“. „Знаешь ты, что̀ жидъ?“—допрашиваетъ онъ престарѣлаго козака: „Гунство проклятое!... Знаешь, что борода поповская не стоитъ подошвы?... Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пупъ?... У него еломецъ краше, чѣмъ ваша холопска вяра“... Тутъ онъ схватилъ за волосы старца и выдернулъ клокъ серебряныхъ волосъ его...“ [3]). Онъ волокита, хвалящійся своими усами и щиплющій крестьянскихъ дѣвушекъ: „Охъ, славная дѣвка!... Ай-да Параска! Ай-да Пидорка!... Ай, ай, ай! Сколько тутъ жиру!...“. Блюститель порядка, вѣрно, себѣ позволилъ нескромность, потому что одна изъ дѣвушекъ вскрикнула во все горло“ [4]). Но стоило казакамъ дать энергичный отпоръ его наглости и самохвальству, какъ „малеванный шутъ струсилъ“. Выпущенный затѣмъ на свободу, онъ „побѣжалъ, отряхиваясь“ [5]).

Здѣсь образъ поляка стоитъ еще ближе къ вертепному, чѣмъ польскіе рыцари въ Тарасѣ Бульбѣ, гдѣ, какъ мы видѣли, Гоголь успѣлъ подняться на извѣстную высоту объективнаго отношенія къ врагамъ своей родины.

Учитель изъ Малороссійской повѣсти „Страшный кабанъ“ имѣетъ много общихъ чертъ съ кондяками старой малорусской драмы и вертепа. „Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ семинаристовъ, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми ***ская семинарія снабжаетъ не слишкомъ зажиточныхъ панковъ въ Малороссіи, рублей за сто въ годъ, въ

[1]) ib., стр. 80.
[2]) ib., стр. 84—85 и 86.
[3]) ib., стр. 81.
[4]) ib.
[5]) ib., стр. 82.

качествѣ домашняго учителя“ [1]). Ходитъ онъ въ сюртукѣ [2]), любитъ покушать [3]), разсыпается въ льстивыхъ похвалахъ [4]). Всѣми этими чертами онъ, впрочемъ, напоминаетъ и дьяка въ пьесѣ Гоголя отца. Но его стоическое цѣломудріе малорусскаго бурсака рѣзко отличаетъ его отъ приторнаго и пошлаго селадонства его предшественника. „Но, къ счастью или къ несчастью, чувство, такъ много извѣстное бѣдному человѣчеству, напосившее ему съ незапамятныхъ временъ море нестерпимыхъ мукъ, не касалось нашего педагога. Въ этомъ случаѣ Иванъ Осиповичъ былъ настоящій стоикъ и, не смотря на то, что не дошелъ еще до *философіи*, онъ твердо зналъ, что ни одинъ изъ философовъ, начиная отъ Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинаріи, не ставилъ ни во что причудливую половину человѣческаго рода; ergo, любви не существуетъ. Такія положенія, обратившіяся у него, наконецъ, въ правила, были тверды, слишкомъ тверды“ [5]).

Въ этой же повѣсти мы встрѣчаемъ мимоходомъ типъ злой бабы и флегматичнаго мужика. Это содержательница шинка — Симониха. „Мнѣ какое дѣло?“ — продолжала неутомимая шинкарка: „Вотъ прекрасно! Парни изволятъ лазить черезъ плетни въ чужіе огороды, дѣвки подманиваютъ къ себѣ молодцовъ — и мнѣ нѣтъ дѣла! Изволятъ *женихаться*, цѣлуются, — и мнѣ нѣтъ дѣла! Ты слышалъ ли, Карпо?“ вскричала она, быстро оборотясь къ мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что вниманія, шелъ, помахивая батогомъ, впереди такъ же медленно выступавшей коровы: „Слышалъ ли ты? постой, на минуточку. Тутъ такая исторія. Харькова дочка...“ „Тьфу, дьяволъ!“ вскричалъ кухмистеръ (ловеласничество котораго такъ возмутило Симониху), плюнувъ въ сторону и потерявъ послѣднее терпѣніе. „Самъ сатана перерядился въ эту бабу. Постой, Яга!“ [6]).

В. Розовъ.

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
476497

[1]) ib., стр. 54.
[2]) ib., стр. 55.
[3]) ib., стр. 55—56.
[4]) ib., стр. 58.
[5]) ib., стр. 60.
[6]) ib., стр. 66.